Ив. Рахилло

Московские встречи

Маяковский
Есенин
Фурманов
Новиков-Прибой
Вересаев
Розенфельд
Серов
Евдокимов
Чиалов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сборник воспоминаний Ивана Спиридоновича Рахилло «Московские встречи» (1961). Книга посвящена известным людям России двадцатого века — от Маяковского до Чкалова.

- Иван Спиридонович Рахилло
  - Маяковский в жизни
  - Встречи с Есениным
  - Старший товарищ
  - Алексей Силыч
  - Рассказ об одной догадке
  - Специальный корреспондент
  - Парень с Урала
  - Николай Евдокимов
  - Валерий Чкалов
    -
    - Юность героя
    - Удалая голова
    - Сердца трёх
    - Слава
    - У Николая Островского
    - Васильки
    - Рассказ о подвиге
    - Последний вечер
    - Во имя жизни

Иван Спиридонович Рахилло
Московские встречи

Маяковский в жизни

Шумный Кузнецкий мост.

Зажигаются вечерние огни. По брусчатой мостовой на дутых шинах резво пролетают лихачи. Только что прошёл тёплый дождь. Из раскрытых дверей табачного магазина сладко пахнет изюмом. В магазин входит Маяковский. Он покупает две коробки папирос. Коробки с широкой картонной крышкой, удобные для записей на ходу.

С грубоватой и неуловимой элегантностью выбрасывая вперед тяжёлую палку, высокий, необычный, отовсюду заметный, поэт размашисто шагает по московским улицам, будто раздвигая своими широченными плечами каменные громады зданий. С Кузнецкого он сворачивает на Рождественку, направляясь к воротам Вхутемаса. И нет на улице ни одного человека, кто бы не оглянулся на него, не подивился его богатырскому росту, плечам, сосредоточенному выражению лица.

Во дворе Вхутемаса толпа ожидающих студентов. Во дворе, на лестнице, в фойе, в зале, в проходах. Пробраться сквозь эту плотную стену немыслимо — всё забито до отказа. Ведь сегодня выступает Маяковский!

В те годы Вхутемас — Высшие художественно-технические мастерские — находился на Рождественке, в здании бывшего Строгановского училища, а студенческое общежитие — на Мясницкой, в огромных восьмиэтажных домах Училища живописи, ваяния и зодчества, где когда-то учился поэт и куда он довольно часто захаживал к своим близким друзьям.

Студенты Вхутемаса любили Маяковского. Этой молодежи, приехавшей в Москву с далёких окраин, с фронтов гражданской войны, нравился поэт-бунтарь, непримиримо громивший старый мир, зовущий в будущее. Он привлекал сердца и своей внешностью, и удивительным голосом, и новым пониманием искусства.

Вхутемас был своеобразным учебным заведением: здесь ценилось всё смелое, необычное, радостно принималось новое, революционное. Студенты Вхутемаса держали первенство по многим видам спорта. В стенах мастерских возникло содружество Кукрыниксов, родились куклы Образцова.

Сюда, в студенческую коммуну, приезжали Владимир Ильич Ленин с Надеждой Константиновной Крупской.

У Маяковского во Вхутемасе были самые верные и преданные защитники. Это был его родной дом.

В прошлую встречу поэт оставил свой телефон:

— Для молодёжи у меня семафор всегда открыт. Вот телефон моей рабочей квартиры, звоните в любое время суток, не стесняйтесь, я всегда приеду!

И верно, не было ни одного случая, чтобы Владимир Владимирович отказался от выступления в студенческой аудитории. Он всегда без опозданий приходил точно к назначенному часу. Его встречали радостной бурей аплодисментов. Маяковский платил молодежи такими же горячими чувствами.

* * *

Февральская Москва завалена пышными «кустодиевскими» сугробами. Над крышами кудряво вьются дымы и дымки всех тонов и расцветок — от густо-киноварных до нежно-пепельных, окрашенные предвечерним солнцем и расстоянием. Печи отапливаются дровами. Над городом стелется сизый облачный полог.

У огромной метровой афиши, напечатанной в две краски, чёрной и пурпурной, останавливаются двое прохожих. Один из них, в меховой шубе, народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, и с ним — его личный уполномоченный Аршаруни. Он в чёрной кавказской бурке и в белой папахе.

— Маяковский продолжает чистку современной поэзии, — говорит Аршаруни.

Луначарский, протерев стекла своих очков, читает афишу. Фамилия Маяковский напечатана крупно. Ниже, в алфавитном порядке, фамилии поэтов всех рангов, групп, течений и школ, — их более полусотни: Асеев, Ахматова, Гастев, Герасимов, Есенин, Кусиков, Мариенгоф, Ходасевич; «Кузница», Союз поэтов, акмеисты, имажинисты, «ничевоки»… Вход бесплатный.

— Вы как, пойдёте, Анатолий Васильевич?

— Увы, сегодня у меня очередное выступление, — с сожалением вздыхает Луначарский.

Большая аудитория Политехнического музея гудит, на битву с Маяковским явились поэты, их друзья и поклонники, приверженцы разных литературных лагерей. Выступить имеет право любой желающий из публики. В зале пронизывающий холод, все сидят в шапках, пальто, полушубках, валенках. Преобладает молодёжь: студенты, рабфаковцы, красноармейцы.

Напоминая горластую запорожскую вольницу, вхутемасовцы расположились кучно, отдельным табором. Можно не сомневаться, Маяковского они в обиду не дадут!

Председательствует Осип Брик. Толстые выпуклые стекла его

круглых очков неуловимо посверкивают, будто обладают свойством электрического самоизлучения.

Он и Маяковский без пальто.

Маяковский в тёплом жилете прохаживается в глубине эстрады, он сосредоточенно нахмурен.

— На повестке дня сегодня — имажинисты! — объявляет простуженным баском председательствующий. — Есть в зале кто из имажинистов?

— Имажинисты не считают нужным присутствовать на этом литературном балагане! — выкрикивает из зала чей-то картавящий голос.

Но его перебивает девушка в серой папахе:

— Здесь поэт Есенин! Есенин в шубе и меховой боярской шапке стоит справа, у средних входных дверей, опершись плечом о притолоку. Он молчит. Двое молодых людей кидаются к нему, проводить на эстраду. Но Есенин недовольно отталкивает их локтями. Он мрачен.

— Я сам скоро организую вашу чистку, — вызывающе бросает он в сторону сцены. — Давно пора кое-кого тут почистить!

Мнение Маяковского, видать, ему не совсем безразлично. Но Маяковский сдержанно молчит, не ввязываясь в спор. Выждав, когда утихнет публика, Брик спрашивает:

— Может, кто желает прочитать стихи Есенина?

На эстраду сразу вспрыгивают несколько добровольцев. Стихи читают с жаром, неумело, иногда перевирая строчки, но Есенин не протестует, он слушает насупленно, с опущенными глазами. После чтения стихов выступил Маяковский. По-деловому, серьёзно и содержательно рассказал он о творческом пути Есенина, причем, все обратили на это внимание, стихи его читал наизусть. Похвалив Есенина и одобрив его работу, Маяковский внёс предложение: «Считать Есенина в первых рядах современных поэтов».

Зал проголосовал «за», встретив резолюцию аплодисментами.

— А всех других имажинистов, — под смех публики предложил Маяковский, — исключить из современной литературы и направить в Моссовет с просьбой подыскать им соответствующую работёнку, скажем, по подметанию и очистке улиц от снега…

Встреч было много. Расскажу об одной, характерной, где Маяковский — первый из поэтов — публично признал и приветствовал тогда ещё никому не известного молодого поэта, автора ещё не напечатанной поэмы. Этим автором был Иосиф Уткин. Поэма называлась «Повесть о рыжем Мотэле».

Настроение у студентов было приподнятое, праздничное.

Маяковский привычно поднялся на сцену. Сняв пиджак, он деловито повесил его на спинку стула и без всяких предисловий начал читать стихи. Набатный бас его гремел. В зале было жарко и душно. Маяковский устал, но студенты требовали всё новых и новых стихов.

Надо было устроить хотя бы небольшую передышку. Я объявил:

— Сейчас выступит поэт Иосиф Уткин!

В зале вспыхнул неудержимый смех.

— Иосиф Уткин! Какой Иосиф Уткин?!

Всех развеселило непривычное сочетание библейского имени — Иосиф с простой и обыденной фамилией — Уткин. Перекричать зал было немыслимо.

Уткин стоял за кулисами бледный и нервно кусал губы. Я обратился за помощью к Маяковскому:

— Владим Владимыч, прошу заступиться!

Маяковский шагнул на авансцену и поднял руку:

— Товарищи, это же неуважение к молодому поэту, давайте послушаем!

Уткин вышел на сцену при полной тишине. Он был в сапогах и в синей расстегнутой рубахе, из-под неё выглядывал уголок полосатой матросской тельняшки. Буйный костер взлохмаченных волос украшал его высоко поднятую голову. Он насупленно смотрел в зал. Сложившаяся обстановка была совсем невыгодна для первой встречи. Выступать в этой аудитории после Маяковского не всякий решился бы.

Уткин начал читать с подъёмом, вдохновенно. Аудитория была захвачена врасплох, и многим, вероятно, стало неудобно и стыдно за свое поведение. Когда он закончил чтение главы, в зале поднялся невообразимый шум.

— Уткина, Уткина! — кричала одна половина слушателей.

— Маяковского, Маяковского! — требовали другие.

Маяковский снова вышел на сцену.

— Видите, а вы не хотели слушать! — улыбаясь, сказал он. — Если хотите, из нового я прочту вам «Сказку о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий…» Правда, эта вещь у меня ещё не совсем отделана…

— Просим, просим! — поддержали из зала.

Маяковский познакомил слушателей со своей новой сказкой. Затем Уткин дочитал поэму до конца и был награждён восторженными аплодисментами аудитории.

Широким шагом Маяковский пересёк сцену и дружески, от всей души пожал руку молодому поэту.

— Замечательно, товарищ Уткин громко поздравил он, —

заходите, Мясницкая, 21, к Асееву. Мы всегда будем вам рады!

Владимир Владимирович постоянно интересовался бытом студентов. Узнав, что студенческое исполбюро организовало производственные мастерские, он охотно согласился написать несколько стихотворных реклам. В те годы был построен первый советский «небоскрёб» — дом Моссельпрома, у Арбатской площади. Вся огромная стена этого десятиэтажного здания была разрисована яркими рекламами на тексты Маяковского.

Своим товарищеским участием поэт оказал нуждающимся студентам значительную поддержку. Десятки вывесок и плакатов ежедневно увозились из производственных мастерских Вхутемаса. Стихи реклам запоминались с первого прочтения.

Нами
оставляются
от старого мира
только
папиросы Ира!

Нигде
кроме,
как в Моссельпроме!

Лучших сосок
не было и нет, —
Готов сосать
до старости лет!

От игр от этих
Стихают дети,
Без этих игр
Ребёнок — тигр!

Вхутемас славился своей стенной газетой, каждую субботу выходившей на двадцати ватманских листах. Она развешивалась во всю стену просторного актового зала.

Наибольший восторг вызывал «Арапический отдел», где постоянно сотрудничали молодые Кукрыниксы, Каневский, Елисеев, Ганф, Лаптев, Решетников, Дорохов и многие известные теперь мастера сатирического жанра.

Здесь ценилась любая фантазия и выдумка.

Карикатуры обычно занимали три-четыре отдельных листа. Пощады не давали никому, но, к чести студентов и профессуры, следует заметить, что на самую злую, но, конечно, справедливую карикатуру здесь никто не обижался.

Не раз на страницах газеты появлялись шаржи даже на самого народного комиссара просвещения А. В. Луначарского.

В газете помещались и отрывки из новых произведений Маяковского.

Вспоминается один вечер. Маяковский вернулся из поездки за границу. В редакции журнала «Молодая гвардия», на Старой площади, в небольшом кругу друзей, он читал свои новые стихи.

Сначала Владимир Владимирович рассказал о злоключениях поездки и как его обворовали в Париже. Это был рассказ, пересыпанный неподражаемым блеском остроумия.

Много интересного рассказал он о Мексике, о нравах мексиканского народа.

Все это впоследствии вошло в его книги.

Поэт читал свои новые стихи — об океане, о монашенках, об Америке, сильные, резкие, волнующие.

И как-то совсем неожиданно в тот вечер прозвучали его строчки, озадачившие всех нас:

Я хочу быть понят
моей страной,
А не буду понят —
что ж?!
По родной стране
пройду стороной,
Как проходит косой дождь…

Помню, эта строфа ошеломила. Она была непонятна, пугающа, необъяснима. Как-то не верилось, не хотелось верить, что это написал Маяковский, поэт разящего таланта, влюблённый в жизнь, — настолько необычен был смысл этой чуждой для всего его творчества упадочной строфы.

Правда, впоследствии Маяковский отказался от этих строк. «Я эти красивые, подмоченные дождём пёрышки вырвал», — писал он.

Но строки эти всё же были написаны…

Весна 1926 года. Получив в Гизе гонорар за детскую книжку, в самом радужном настроении шагаю в Литфонд. На Тверском бульваре останавливает добродушный бас Маяковского:

— Здравствуйте, Рахиллес быстроногий, он же рахиллесова пята русской литературы. Куда это вы?

— В Литфонд, за путёвкой на курорт.

— Гм! Может, на бильярде срежемся? — приглашает Владимир Владимирович. — У меня как раз есть свободное время. Вы играете?

— Играю.

— Пирамиду, американку?

— Предпочитаю американку.

— Хорошо играете?

— Средне.

— Могу дать четыре шара вперёд, — предлагает Маяковский.

— Я вперёд ни от кого не беру.

— Гордый, значит. Тогда двинулись!

Спускаемся вниз по Тверской к «Гранд-отелю».

По дружелюбной фамильярности старика маркера можно было без труда определить, что Маяковский тут не редкий гость.

За соседним столом играли на бильярде поэт Жаров и Афиногенов.

— Только я без денег не играю, — шутливо заметил Владимир Владимирович, натирая мелом кий. — Но так как вы писатель ещё небогатый, то мы установим такое условие: первая партия — пятьдесят копеек, вторая — рубль и т. д. В общем, каждая следующая ставка удваивается.

Маяковский играл прекрасно, с особым бильярдным блеском, сразу находил шар и тут же, со снайперской точностью, почти не прицеливаясь, всаживал его в лузу. Каждый свой удар он сдабривал острым словом, шуткой.

Скоро вокруг нашего стола образовался круг болельщиков. Афиногенов и Жаров держали пари за меня и всё время подогревали игру.

Маяковский играл без пиджака, почти не вынимая изо рта папиросы.

В игре увлекло меня лицо поэта, увиденное неожиданно в новом наклонном ракурсе — со лба. Маяковский был высокого роста, и все обычно привыкли видеть его снизу, с подбородка: в этом ракурсе его лицо приобретало тяжёлую скульптурную монументальность. На самом же деле, с точки зрения обычных пропорций, подбородок у Маяковского не был большим (хотя многие художники и скульпторы до сих пор бьются и не могут найти эту неуловимую и характерную для выражения лица поэта значительность, — они искусственно утяжеляют ему подбородок и сразу теряют сходство).

А подбородок у Маяковского был, как это ни покажется

странным, совсем не резко выраженного, а даже наоборот — мягкого контура. Монументальность поэту придавали его рост, плечи, широкий великолепный рот оратора и жгучие, полные ума, человечности и ощущения скрытой силы огромные выразительные глаза.

Но в тот вечер меня больше всего поразило его ни с чем не сравнимое озорное настроение. Мне удалось подсмотреть лицо поэта в минуту чистой, детской откровенности, с улыбчивым прищуром глаз, с падающей на лоб прямой прядкой волос, эти добрые, развесёлые ямки на щеках и притворно-хитрое выражение озорника-школьника, желающего чем-нибудь «насолить» своему приятелю, подшутить над ним.

Вскоре, однако, мои интересные наблюдения были оттеснены на второй план другим немаловажным обстоятельством, а именно: удваиваемые ставки стали принимать угрожающие размеры. Я сразу не понял шутки Маяковского.

— Может, всё-таки возьмёте фору? — предложил он.

— Нет.

— Учтите, что следующая ставка уже будет двенадцать червонцев с хвостиком. А потом…

Мне грозило полное банкротство. Мои болельщики, ставившие против Маяковского, стали шумно возражать и заставили взять два шара вперёд.

Играли мы до полуночи, до самого закрытия бильярдной. Мне удалось всё отыграть, и Маяковскому пришлось угостить всех нас ужином.

Придя ночью домой, записал:

«Играли на бильярде с М. Был поражен выражением его лица. Необыкновенно!.. Может быть, придётся об этом когда-нибудь вспомнить…»

Жаркое июньское утро. В литературном отделе «Комсомольской правды», в Черкасском переулке, огромное полуовальное окно открыто настежь. Уткин в расстёгнутой рубашке разговаривает по телефону с Кукрыниксами: он заказывает художникам шарж для очередной литературной страницы. Уткин ведёт литературный отдел газеты.

Секретарь отдела, поэт Джек Алтаузен, за письменным столом непрерывно строчит ответные письма на присланные из провинции стихи. В просторной комнате прохладно… Широко распахивается дверь, и входит Маяковский. В комнате сразу становится тесно. Поэт здоровается с присутствующими и деловито лезет в боковой карман.

— Только что написал, — сообщает он всем. — Надоело

ссориться…

Уткин заканчивает телефонный разговор, и Владимир Владимирович, положив на стол кепку и палку, становится посреди комнаты. Неяркий свет узкого переулка мягко освещает его угловатое, «бетховенское» лицо. Маяковский вынимает исписанные листы бумаги и объявляет заглавие:

— «Послание пролетарским поэтам».

Это любопытно! За последнее время на литературных вечерах и диспутах споры между поэтами различных литературных группировок становятся всё злей и беспощадней, в бой втянуты газеты и журналы. По-видимому, Маяковский подготовил очередную литературную бомбу против налитпостовцев. Сейчас он навалится на них, вооружённый своим грозным и неотразимым остроумием. Послушаем.

Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски —
как старший товарищ,
неглупый и чуткий,
поразговаривать с вами,
товарищ Безыменский,
товарищ Голодный,
товарищ Уткин.
Мы спорим,
аж глотки просят лужения,
мы задыхаемся
от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
деловое предложение,
давайте
устроим
весёлый обед!

Как это неожиданно и прекрасно! Только могучая, открытая душа могла в самый разгар жесточайших литературных споров и битв выступить с такой необыкновенной, задушевной речью.

Расстелим внизу
комплименты ковровые,
если зуб на кого —
отпилим зуб;
розданные Луначарским

венки лавровые —
сложим
в общий
товарищеский суп.

Приоткрываются двери, и в них появляются любопытные головы молодых сотрудников из других отделов редакции. А Маяковский широким жестом отбрасывает руку в сторону:

Одного боюсь —
за вас и сам, —
чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.

Как хорошо, что Маяковский, не боясь этим унизить и скомпрометировать себя, первым запросто пришёл с открытыми объятиями к молодым поэтам!

А если я
вас
когда-нибудь крою
и на вас
замахивается
перо-рука,
то я, как говорится,
добыл это кровью,
я
больше вашего
рифмы строгал.
Товарищи,
бросим
замашки торгашьи.
— Моя, мол, поэзия —
мой лабаз! —
Всё, что я сделал,
всё это ваше —
рифмы,
темы,

дикция,
бас!

И когда поэт громово заканчивает чтение последних строк, слушатели благодарными аплодисментами приветствуют его дружеское чистосердечие.

— Грандиозно, — восторженно вскакивает Алтаузен, — только непонятно, почему вы адресуете стихи Голодному?

— Как почему, — удивлённо полуоборачивается Маяковский, — а «Гренада»?

— «Гренаду» написал поэт Светлов.

— Простите, досадное недоразумение. Но мы это сейчас исправим…

И вынув из кармана перо, Маяковский перечеркнул фамилию Голодного и вписал сверху Светлова. Тут же он прочитал исправленное вслух:

Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски —
как старший товарищ,
неглупый и чуткий,
поразговаривать с вами,
товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
товарищ Уткин!

Впоследствии на всех своих вечерах он читал «Гренаду» Светлова наизусть и очень её хвалил.

Маяковский был смелым и грозным полемистом. Не раз доставалось от него многим собратьям по перу, а тут вдруг такая необыкновенная теплота и задушевность!

Всех взволновал самый факт появления этого «послания». Маяковский первым выступил против литературного сектантства и местничества. Было такое ощущение, будто поэт широко распахнул окно и в затхлую атмосферу взаимного недоброжелательства ворвался свежий весенний ветер. В заключительных строках он звал товарищей по оружию к единению:

Давайте,
товарищи,

шагать в ногу.
Нам не надо
брюзжащего
лысого парика!
А ругаться захочется —
врагов много
по другую сторону
красных баррикад.

Стихотворение Маяковского было первой сигнальной ракетой, зовущей поэтов всех школ в атаку на главного врага, — «по другую сторону красных баррикад». Именно такую важную роль сыграло оно в те смутные и уже полузабытые времена…

Из «Комсомольской правды» дружной компанией направляемся в Дом Герцена, на Тверской бульвар. Через узкую калитку в китай-городской стене выходим к памятнику первопечатнику Ивану Федорову. Владимир Владимирович рассказывал об Америке, о вымирающих индейских племенах — «последних из могикан», угнанных на далёкие окраины севера, в пустынные резервации.

— Той Америки, которую мы представляем по книгам, давно нет и в помине. Никаких бизонов. Лошади и ковбои вытеснены автомашинами. Лошадь на улице — это почти сенсация!

И словно в ответ с Неглинной навстречу нам четверка рослых мохнатоногих битюгов выкатила огромный чугунный котёл, установленный на широкую низкую платформу с толстыми окованными колесами.

— Вот они и наши последние могикане, — заметил Алтаузен, довольный своей находчивостью.

— Могикони, — спокойно поправил Маяковский.

Почему-то всегда казалось, что у Маяковского, несмотря на его могучий рост и зычный, устрашающий голос, незащищённое и легкоранимое сердце, и, может быть, поэтому в его поведении на диспутах было столько внешней «защитной» дерзости и непримиримости. Не раз подмечались в его глазах перед началом выступлений, когда он быстро оглядывал зрительный зал, почти неуловимые миги напряжённого и тревожного беспокойства, — поэт волновался.

Владимир Владимирович выступает на литературном диспуте:

— Поэт должен знать жизнь, изучать её во всех проявлениях. А я тут звоню недавно по телефону одному молодому поэту, и мне отвечает — кто бы вы думали! — его личный секретарь! Вместо того чтобы самому влезать в действительность, он отгораживается от жизни личными секретарями. Это не поэт, это — бюрократ.

Маяковский впервые приглашён выступать по радио. В то время студия помещалась на Никольской. Грохоча подкованными ботинками по железной винтовой лестнице, поэт поднялся на второй этаж. Поздоровался. Вошел в студию и остановился у пульта.

— А много там слушателей? — спросил, показывая палкой на микрофон.

— Весь мир…

— А мне больше и не надо, — весело заметил Владимир Владимирович.

— Как вас объявить?

— Никак. Сам объявлюсь.

И когда вспыхнул сигнал: «Микрофон включён!», подошёл и объявил: «Говорит Маяковский!» — и начал читать новые стихи.

Он умел разить противника метким словом.

В начале сентября 1927 года в Минеральных Водах появились яркие афиши:

«ПОЭТ ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. ВСЕМ — ВСЁ!

РАЗГОВОР-ДОКЛАД. НОВЫЕ СТИХИ И ПОЭМЫ».

Первый вечер должен был состояться в Пятигорске, в Лермонтовской галерее.

Владимир Владимирович сидел в артистической уборной, один, больной, расстроенный.

— Горло болит, — пожаловался он, отвечая на приветствие. — Что-то публика плохо идёт…

— Надо для зазыва что-нибудь экстравагантное выкинуть, — шутливо посоветовал я.

— Что ж, может, мне сесть верхом на киоск и оттуда зазывать публику? — хмуро усмехнулся Маяковский.

Неожиданно подул ветер, и на город стремительно обрушился дождь. Зрительный зал быстро стал наполняться публикой.

— Погода работает на меня, — улыбнулся Владимир Владимирович и стал готовиться к выступлению.

Группа местной «золотушной» молодёжи, возглавляемая сыном зубного врача, задалась целью поспорить с Маяковским.

В конце вечера, после чтения стихов, из второго ряда поднимается молодой человек в модном костюме и, самодовольно поправив на шее галстук бабочкой, заявляет:

— Вот вы, Маяковский, говорите, что вы всем понятны, что вас понимают широкие массы. А вот я, например, не понимаю вас.

— Вы! А ещё кто?

— Мои товарищи тоже не понимают…

Маяковский мрачно посмотрел на ехидного молодого человека:

— Нужно иметь умных товарищей!

Под дружный смех и аплодисменты слушателей спор на том и закончился.

Лето 1928 года. Донбасс.

В шахтерском клубе сегодня вечер Маяковского. Публики полно. Несколько начинающих поэтов из шахтёрской молодежи пробралось за кулисы.

— Товарищ Маяковский, опоздали, посадите куда-нибудь.

— Куда же я вас посажу? — задумывается поэт. — Ну ладно, занимайте места в оркестре!

Обрадованные хлопцы пролезают под сцену и рассаживаются внизу, вдоль барьера. Маяковский сегодня в ударе, он с особым воодушевлением читает для шахтёров. В конце выступления поэт обратился к публике:

— Товарищи, некоторые досужие лица ставят мне в упрек, будто я непонятен рабочему классу… Давайте говорить по душам: понятен я вам или нет?

— Понятен! — многоголосо отвечает зал.

Лицо поэта озаряется благодарным светом. Но вот из темного угла раздаётся скрипучий голос какого-то интеллигента в очках:

— Когда читаете лично, то понятен. Но вот уедете — и снова всё будет непонятно. У вас нет последователей, товарищ Маяковский.

— Это у меня нет последователей? — весело возражает поэт и вдруг, обращаясь в оркестр, неожиданно рявкает во всю мощь своего громоподобного голоса:

— Встать!..

К общему удовольствию всех слушателей, хлопцы как один вскакивают на ноги.

— А это что, не последователи? Вот они! — И Маяковский широким жестом обводит вдоль оркестра, где стоит шеренга его молодых друзей.

Готовилось открытие выставки, посвящённой двадцатилетию

литературной работы поэта. Владимир Владимирович, без пиджака, в клетчатой жилетке, распоряжался развеской плакатов и афиш. Я пришёл помочь ему.

— Как находите? — поинтересовался Маяковский.

Он прошёл со мной по выставке, держа в руках молоток.

— Замечательно. Но эти книги и плакаты хорошо всем известны. А вот фотографий, отражающих вашу жизнь и работу, почему-то не видно. Мне кажется, это было бы как раз интересно…

— Вы думаете?.. — неуверенно спросил Маяковский. — По-моему, это неинтересно.

— Наоборот. Читатель всё хочет знать о вашей работе.

— Проработал двадцать лет, — с невесёлой усмешкой сказал Владимир Владимирович, — и даже выставочного каталога не напечатали…

В самом дальнем углу выставки, за щитами, повесили несколько семейных фотографий Маяковского. Они неизменно привлекали внимание посетителей.

Из-за границы впервые привезена звуковая киноаппаратура. Мне поручено переговорить с Маяковским о записи его выступления для звукового экрана. Это было за несколько дней до его смерти.

Встретились в Доме Герцена, на втором этаже, в коридоре.

Вечерело. Владимир Владимирович молча смотрел в окно, он чем-то был расстроен.

Со всем жаром души стараюсь убедить Маяковского записаться на пленку.

— Так мастерски читать, как вы, никто у нас не умеет, да и не сумеет никогда. Это будет необыкновенно: Маяковский говорит с экрана!

— Задумано хорошо, — согласился Владимир Владимирович, — но, к сожалению, врачи запрещают мне выступать. Из-за горла… Я надорвал голос.

— Тем более! Один раз запишитесь, и вас будут слушать миллионы. Это же на века. Навсегда.

— Для кино, пожалуй, выступлю. В последний раз, — добавил задумчиво Владимир Владимирович.

Он стоял возле окна, заведя руки за спину и опершись на палку, изжёванная папироса перекатывалась из угла в угол его большого выразительного рта. Нахмуренно глядел он в голый сад, и в его грустных глазах ало отражалось вечернее солнце.

Дом творчества писателей «Малеевка» в те годы ещё не был

связан телефоном с Москвой. Газеты приходили сюда с большим опозданием.

Запомнилось солнечное весеннее утро. По ступенькам поднимается приехавший из Москвы писатель Артём Весёлый.

— Застрелился Маяковский, — сообщает он вместо приветствия.

Никто не верит. Какая чудовищная нелепость!..

Улица Воровского запружена народом. Конная милиция. Люди на крышах, на деревьях, на карнизах домов.

Из дверей клуба выносят огромный гроб, задрапированный в чёрное и красное. В гробу Маяковский.

Прощальный митинг.

За воротами гроб устанавливают на платформу грузового автомобиля. Среди провожающих много вхутемасовцев, искренних друзей и почитателей поэта. Художник Георгий Нисский стоит на платформе с открытой головой.

Процессия направляется к Арбатской площади. Знакомый репортёр из «Безбожника» шагает рядом и рассказывает:

— Как раз накануне, тринадцатого, я был у Владимира Владимировича дома. Мы выпускали юбилейный номер журнала, где было запланировано приветствие Маяковского. Я направился к нему за факсимиле: мы под каждую статью даём личную подпись автора. Пришел к нему на Лубянский проезд утром, часов в одиннадцать. Владимир Владимирович встретил меня с мохнатым полотенцем через плечо, шёл умываться. Ой извинился и пригласил пройти в комнату.

— Там на камине фрукты, питайтесь, — гостеприимно предложил он, — я сейчас буду готов.

Я рассказал о цели моего посещения. Маяковский взял ручку и, написав на квадратике бумаги свою фамилию, пошутил:

— Только не подделайте вексель!

— Не годится, — сказал я, — синие чернила…

— Где же я возьму чёрные? — нахмурился он.

В это время постучали в дверь — пришли с подпиской на какое-то издание. Переговорив с девушкой, Владимир Владимирович снова стал искать чёрные чернила. Я посоветовал ему развести в чернильнице засохшие. Он обрадовался моей выдумке и, вырезав из плотной бумаги квадратик, расписался на нём вторично, уже разведёнными чернилами.

— Теперь подходит, — заявил я.

— Вот и прекрасно!

На прощанье он насильно всунул мне в руку пару мандаринов.

— Питайтесь, фрукты полезны для здоровья…

Никак не могу смиряться с мыслью, — добавил собеседник, — что у него в кармане уже лежала заготовленная предсмертная записка. Ведь она помечена двенадцатым числом.

Печальная, незабываемая весна 1930 года…

Пришла война. Враг на советской земле. Он бомбит наши города и села. В эти суровые дни всё переплавлялось на победу — и горе, и радость, и трудовой порыв.

Возникла мысль — к юбилею комсомола построить для фронта сверхплановый боевой самолёт «Владимир Маяковский». На авиационном заводе, где я работал в то время, парторг ЦК и директор завода поддержали идею. Посоветовались с комсомольцами и лётчиками-испытателями. Одобрили.

Выступать пришлось в цехе, прямо со станка.

— Товарищи! Молодежь и лётчики-испытатели нашего завода решили достойно отметить юбилей комсомола.

Вношу предложение — построить в подарок фронту сверхплановый бесплатный самолёт «Владимир Маяковский».

Крепкий строй рабочих рук дружно взлетает вверх. Тут же у станка открывается запись добровольцев, желающих принять участие в постройке самолёта.

Направляюсь в соседний цех: здесь тоже провожу митинг. И так из цеха в цех, из мастерской в мастерскую, обхожу весь завод, агитируя за Маяковского.

Чести называться именем поэта добилась фронтовая бригада Фроси Головенко. В первый же день девушки выполнили семь заданий.

Невиданный порыв охватил всю молодежь: было решено вместе с «Владимиром Маяковским» построить для фронта девять бесплатных самолётов: «Николай Островский», «Зоя Космодемьянская», «Олег Кошевой», «Виктор Черняев» и другие.

Друг за другом выходили они на старт нашей лётно-испытательной станции.

Они стоят рядом — громадный бородатый дядя и пятнадцатилетний подросток, сверловщик Лёня Козлов. На нём большая, не по росту, спецовка. На ногах тяжёлые ботинки.

— Совсем забил своего сменщика, — говорит мастер. — За прошлый месяц дал в фонд Главнокомандования деталей на сорок машин. На сорок машин сверх плана!

— Как тебя зовут?

— Леонид Захарович Козлов… А это — мой ученик, — кивает он на бородатого, — теперь уже сменщик.

Бородатый виновато смотрит в окно.

— Какая же у тебя норма?

— Две машины.

— А делаешь?

— Восемь-девять, — отвечает Козлов и добавляет: — Это в честь Маяковского…

Он рассматривает свои замазанные руки с таким усердием, словно видит их впервые в жизни.

Клепальщица крыльевого цеха Майя Чернис, работая в цехе за двоих, дома по вечерам пишет стихи. В одном из них она обращается к поэту:

Вам, Маяковский,
надо бы жить —
огромной силе мысли;
вам бы фашистов
стихами громить,
воевать бы
в полном смысле!

Через десять дней боевой самолёт с гордым именем «Владимир Маяковский» впервые сорвался со старта. Юрий Молчанов, самый молодой лётчик нашей лётно-испытательной станции, произвёл полный воздушный экзамен новому самолёту. Последний круг, и «Маяковский», погашая скорость, мягко касается бетонной дорожки. Пилот выбирается на крыло.

— К бою готов! — докладывает он.

— Спасибо вам! — И Фрося Головенко крепко жмёт руку Молчанова.

На прощанье снимаемся у самолёта.

В грозном строю боевых красавцев «Владимир Маяковский» ушёл на фронт. На борту улетело письмо, адресованное лётчикам-фронтовикам.

Вот что писали в нём комсомольцы завода:

«Новый, отличный по своим качествам, сверхплановый самолёт передается вам в подарок, дорогие бойцы! Эту машину комсомольцы и молодежь завода строили бесплатно, помимо основного рабочего времени.

Слово за вами, дорогие товарищи!

Ударьте по врагу, бейте его, гада, пусть фашистская сволочь почувствует силу нашего фронта и тыла!»

Вскоре на завод прибыл ответ:

«Дорогие друзья! Мы получили ваш замечательный подарок — боевую крылатую машину «Владимир Маяковский». Спешим сообщить вам, что эта отличная машина уже сделала пятнадцать

успешных боевых вылетов, а её экипаж, с командиром-комсомольцем капитаном Богдановым, награждён орденами и медалями. Ваш гордый «Владимир Маяковский» штурмовыми и бомбардировочными ударами громил живую силу врага, железнодорожные станции, подвижной состав, опорные пункты противника, чем обеспечил продвижение нашей пехоты вперёд на запад. На своих краснозвездных крыльях он нёс врагу смерть и разрушение. За этот короткий период уже уничтожено до 20 вагонов с живой силой и грузами, 3 склада с боеприпасами, 10 автомашин и до двух рот пехоты противника. Но это только начало боевого счета! Когда машина уходит в полёт, все говорят: «Маяковский» взмыл, держись, фашистская погань!»

Суровая, беспощадная к врагу, как и сам Маяковский, машина проходит над аэродромом и идёт на задание — и кажется, что Маяковский жив и воюет с нами. И невольно вспоминаются его слова:

Я всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс.

Дорогие друзья! Клянёмся, что будем громить фашистов, пока бьются наши комсомольские сердца!

Командир экипажа «В. Маяковский» —
капитан Богданов.
Авиамоторист—
сержант Мартьянова.
Авиамеханик —
старший сержант Сахаров.
Воздушный стрелок —
старший сержант Чмона.
Комсорг части —
старший сержант Иванов».

С фронта, по пути в Сталинград, на нашем аэродроме приземлился полковник Ларюшкин. Он рассказал о боевых успехах «Маяковского».

— Гроза, а не машина! Слава о «Маяковском» идёт по всему фронту.

Людмила Владимировна, старшая сестра Маяковского, показывает, как удобней протянуть в квартиру провод микрофона.

Поднимаемся по лестнице и входим в тихую квартирку, куда

так часто любил захаживать Маяковский. Здесь в родной семье он отдыхал.

Вот и Александра Алексеевна, маленькая, седая, приветливая, с тихим, ласковым голосом, мать, вынянчившая и воспитавшая поэта-гиганта. Ей уже восемьдесят с лишним лет. Она ожидает нас на балконе.

По радио передают грузинские песни, и разговор у нас, естественно, завязывается о Грузии, где прошло детство Маяковского.

— Мы жили тогда в селении Багдади, в Грузии, — вспоминает Александра Алексеевна. — Это очень красивое место, кругом горы, внизу шумит река Ханис-Цхали, синее небо, тополи. Во всём селении только одна наша семья была русской, а все соседи — грузины. Жили мы душа в душу. Мой муж, Владимир Константинович, служил лесничим. Потомок запорожских сечевиков, он был высокого роста, широкоплеч, с голосом удивительной зычности и силы. Всё это передалось и Володе. У нас в семье часто говорили об Украине, её истории, литературе. Муж очень гордился тем, что происходил родом из запорожцев. Он хорошо владел и украинским, и грузинским языками. Дети — Оля и Володя — тоже говорили по-грузински.

На Кавказе, как известно, очень любят песни. Соберутся за столом — и поют. Муж знал много песен и русских, и грузинских, и украинских. Он пел в лесу, дома, на лошади.

Вот я услышала сейчас по радио грузинскую песню «Сулико» и сразу вспомнила Багдади… Вечер… Шумит река. Муж возвратился с работы и сидит на ступеньках балкона, у него на коленях Оля и Володя. Он обнял детей за плечи, и они втроем поют. Какие песни пели? Пели «Есть на Волге утес», «Укажи мне такую обитель», «Как ныне сбирается вещий Олег», «Баламутэ, выйди з хаты», «Засвистали козаченьки», «Реве та й стогне Днипр широкий», «Сулико». Очень любил муж читать вслух стихи Шевченко…

Александра Алексеевна оживляется, в её чёрных глазах зажигаются искорки нежности.

— У нас часто собирались гости, и они всегда просили маленького Володю петь и читать стихи. А чтецом он был с четырёх лет. Читал Лермонтова, Пушкина, Некрасова. Гостей не стеснялся, хотя сам был чуть повыше стола.

Помню, держался за платье, потом научился читать — и вдруг как-то сразу повзрослел!.. Я и не заметила, как вырос…

В молодости Володя писал стихи, рисовал, играл в кино.

Александра Алексеевна с любовью смотрит на портрет сына, где он снят с чёрной собакой на плече, весёлый, улыбающийся.

— Он был хороший сын, — добавляет она ласково.

— Скажите, Александра Алексеевна, — обращаюсь я, — в статье Полонской-Василенко «Из истории Южной Украины XVIII века», напечатанной в «Исторических записках Академии наук СССР», упоминается есаул Маяковский, бежавший от царского гнёта из Новороссийской слободы. Не ваш ли он родственник?

— Род Маяковских, как я уже говорила, происходит от запорожцев, — подтверждает Александра Алексеевна. — Я не раз рассказывала об этом Володе. Дедушка Константин Константинович Маяковский служил в городском управлении города Ахалцихе. Его предки происходили из казаков Запорожской Сечи. А дедушка Алексей Иванович Павленко, мой отец, родился в бывшей Харьковской губернии. Его родные говорили только на украинском языке. Дедушка служил в пехотном полку, сначала на Кубани, затем в Армении. В русско-турецкую войну 1877–1878 годов, в звании капитана, он погиб в Эрзеруме.

Бабушка Ефросинья Осиповна Маяковская, урождённая Данилевская, двоюродная сестра писателя Данилевского, происходила из города Феодосии. А бабушка Евдокия Никаноровна Павленко, урождённая Афанасьева, моя мать, жила в юности на Кубани, в станице Терновской…

— На Кубани ведь находится Сечевая степь, — замечаю я, — туда уходили в своё время опальные запорожские сечевики.

— Да, Володя запомнил мой рассказ о прошлом нашей семьи, ему тогда было всего одиннадцать лет, запомнил и, спустя много лет, в стихотворении «Нашему юношеству» написал:

…Я —
дедом казак,
другим — сечевик…

Александра Алексеевна устала. Извинившись, она уходит в спальню отдохнуть.

Негромко разговариваем с Людмилой Владимировной, продолжая затронутую тему о предках Маяковского.

— Дома у нас говорили по-русски, но сохранились многие украинские обычаи, — вспоминает она. — Отец любил носить вышитые украинские рубашки. В семье, по украинскому обычаю, говорили родителям вы, чем подчёркивалось уважение к старшим.

Наш отец был веселый, открытый человек, смеялся он всегда громко и заразительно, так же как запорожцы на известной картине Репина.

Любимой поговоркой отца было: «По обычаю наших предков!» Хорошо поработав или закончив какое-либо серьёзное дело, он говорил: «Есть ещё порох в пороховницах, и не гнётся казацкая сила!»

В семье очень любили Гоголя. Отец читал нам вслух главы из его повестей. Гоголь и Шевченко были любимыми писателями Володи. Любовь к Украине всегда лежала у него в душе.

И Людмила Владимировна вспоминает отрывки из произведений Маяковского, в которых он говорит об Украине, о бескрайних, необозримых её степях, где когда-то жили его предки — запорожцы…

Никогда не забыть того первого поражающего мгновения, когда упали складки полотна и перед взорами москвичей, на фоне синего неба, расписанного белыми спиралями высотных самолётов, освещённый ослепительным солнцем, во весь свой могучий рост встал бронзовый Маяковский.

Да, это был его образ — образ Поэта Революции. И вот-вот, казалось, загремит над площадью его могучий, ни с чем не сравнимый бас:

Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря…

По вечерам у подножия памятника собирается молодежь и читает стихи, посвящённые поэту. Ленинградский рабочий-краснопутиловец Валентин Горшков в своём стихотворении рассказал о посещении Маяковским их завода:

Вышел он, большой, широкоплечий,
Помню, улыбнулся широко,
Руку поднял — рад хорошей встрече —
И внезапно, просто и легко,
Шум покрыв, громово на весь зал
«Здравствуйте, товарищи!» — сказал.
Глядя на громаду-стихотворца,
Шепчут мне с улыбкой на лице:
«Вот бы, Валя, нам молотобойцем
Взять его к себе в кузнечный цех».

…А слова звенели в тесном зале,
Поднимали, звали, волновали.
Про страну, что встала из развалин,

Про меня, про каждого из нас.
Слово, как удар по наковальне,
Слово бьёт не в бровь, а прямо в глаз.
Люди со скамеек повставали,
И звенела каждая строка
Самой боевой закалкой стали,
Нашей стали, стойкой на века!
Жарь смелей, отбить ладонь не бойся!
И в восторге шумный мой сосед
«Узнаю, — кричал, — молотобойца!
Дельный парень, хоть он и поэт!»

И почудилось, что вот сейчас Маяковский сойдёт с гранитного пьедестала, пересечёт площадь, названную его именем, и, любуясь ночной Москвой, размашисто прошагает по улице Горького, через площадь Пушкина, к Центральному телеграфу, поднимется по Кузнецкому мосту вверх, направляясь в Политехнический музей, где обычно устраивались литературные вечера и где с жадным и восторженным нетерпением его всегда ожидали верные и преданные друзья…

Встречи с Есениным

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень — рыжая кобыла — чешет гриву.
Над речным покровом берегов
Слышен синий лязг её подков.
Схимник-ветер шагом осторожным
Мнёт листву по выступам дорожным
И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу.

Стихотворение «Осень» было напечатано в альманахе «Весенний салон поэтов». Сверху стояла фамилия автора — Сергей Есенин.

В двадцатых годах я жил в «Лоскутной» гостинице, у Охотного ряда, в одной комнате со старым наборщиком Андреевым.

Ко мне в гости зашел ивановский поэт Серафим Огурцов, и я прочитал ему стихотворение Есенина вслух.

— А я-то Сергея знавал ещё совсем безусым. У Сытина вместе работали, — негромко обронил Андреев, сворачивая папиросу.

Даже полусонный Огурцов, болевший энцефалитом, и тот оживился.

— Неужто знавал? Мне это очень надобно. Мы в Иванове задумали издать антологию современных поэтов.

И сосед, попыхивая махоркой и поглядывая сощуренно на кремлёвскую стену, куда выходило окно нашей комнаты, рассказал о своей дружбе с Есениным.

— Его привел в типографию один наш рабочий, тоже баловавшийся стихами. Он ходил в какой-то там кружок поэтов и там познакомился с Есениным. По виду Есенину было лет шестнадцать-семнадцать. Невысокий, белокурый. Нам он очень понравился, живой такой, любознательный, хорошо читал наизусть Пушкина и Лермонтова.

Первое время ему негде было жить, и он ночевал в комнатке при типографии. Его устроили в корректорскую. Не раз читывал он нам свои стихи и даже где-то их печатал. В каких-то небольших журнальчиках. Страсть как любил типографское дело, изучал шрифты, печатные машины, охоч был до хорошей бумаги

— всё мечтал, когда ему книжку напечатают.

Стихи у него были грустные, но правдивые. О деревне. Нам очень нравились. Брали за душу…

Огурцов записал всё это в блокнот. Мы решили сходить на Никитскую, в книжную лавку имажинистов.

— Может быть, застанем там Есенина.

На дверях лавки висел замок. У дверей мы повстречали худого, тщедушного человека с высоким лбом и добрыми, мечтательными глазами. Огурцов узнал его: это был литературовед Иван Никанорович Розанов. Мы пошли проводить его до Кудринской, и он по дороге рассказал нам о Есенине и его друзьях — имажинистах, о том, как Есенин попал в Петербург к Блоку. Потом познакомился с Городецким и Клюевым. Его втянули в модные литературные салоны, встречая как представителя простого народа.

— Но Есенин лишь прикидывался наивным простаком, — хитро прищурившись, говорил Розанов, — а на самом деле много читал и работал с большим упорством. Он овладевал сложностями литературного мастерства, общался с поэтами, художниками и артистами, приглядывался к ним, учился.

Три любви двигают им в жизни: это — любовь к родине, стихам и славе. Он мечтает стать народным, национальным русским поэтом. И всеми силами тянется за этой неуловимой жар-птицей…

Мы проводили Ивана Никаноровича до самого парадного его дома.

Есенин стоял у прилавка, на фоне книжных полок, молодой, светлый, элегантный, и спорил с каким-то высоким лысым человеком в старинном сюртуке, как оказалось, профессором истории. Профессор держал в руках раскрытый томик «Слова о полку Игореве» и старался доказать, что «Слово о полку» — произведение не оригинальное, что история похода князя Игоря Святославича в старинных летописях — Лаврентьевской и Ипатьевской — изложена гораздо последовательнее и исторически точнее.

— Историки лучше и подробнее рассказали о всех событиях, связанных с походом князя Игоря и его неудачной битвой с половецкими ордами.

Профессор доказывал своё положение веско, стройно, по-ученому, то и дело заглядывая в раскрытый томик.

Есенин кипятился, размахивал руками, говорил не в лад, перебивал своего собеседника. Он утверждал, что авторы летописей излагают историю похода с холодным равнодушием.

— Автор «Слова о полку» — художник, он поэтически нарисовал военный поход князя Игоря и сумел гораздо правдивей показать и раскрыть глубокую сущность его неудачи, ибо художник, поэт действует и мыслит живыми образами…

В своём светлом костюме и модных ботинках Есенин легко двигался по небольшому помещению лавки и изредка недовольно поглядывал в нашу сторону.

Поражали его удивительная память и знание славянского языка. Не раскрывая книги, он произносил из «Слова» целые главы наизусть.

Восторгаясь красочным языком сказания, Есенин остановился у прилавка и, поглядывая снизу на своего длинного худощавого оппонента, торжественно прочитал:

— «Боян же, братие, не десять соколов на стадо лебедей пущаше, но свои вещия персты на живая струны вскладаше: они же сами князем славу рокотаху».

И совсем без всякой последовательности восхищенно заметил:

— Князь вступает в «злат стремень». Злат стремень! Вот где точности и красоте языка учиться!

Он вспомнил описание битвы:

— «С зарании до вечера, с вечера до света летят стрелы каленыя, гримлют сабли о шеломы, трещат копья харалужные в поле незнаеме среди земли Половецкии. Черна земля под копыты костьми была посеяна…» Каково, а? — восхищённо выкрикивал Есенин. — Такой выразительности от души позавидовать можно, — и было видно, что он действительно от всей глубины сердца завидует автору поэмы. — Вот бы о наших временах такое создать!.. А как здорово описано бегство Игоря из плена! Так мог написать человек, только сам переживший эти невзгоды…

Обратив, наконец, на нас внимание, Есенин как-то виновато улыбнулся и спросил:

— Вы ко мне? Простите, ради бога…

С той же неопределённой и виноватой улыбкой он выслушал нашу просьбу — написать для альманаха свою автобиографию.

— Ладно. Зайдите дней через пять-шесть…

Но Огурцов, несмотря на свою внешнюю медлительность, был человек хваткий и соображал быстро.

— Дорогой Сергей Александрович, завтра отбываю в Иваново. Будь друг (он со всеми обращался на ты, и у него это получалось как-то естественно и не обидно), не откажи. Три слова…

И видя, что Есенин уже заколебался, Огурцов дрожащими пальцами вытащил из планшета, переброшенного через плечо, заготовленный блокнот.

— Немного, хоть несколько слов скажи, а уж запишу я сам…

Есенин проводил профессора до дверей. Опершись спиной о стойку с книгами, он озорно запустил в волосы растопыренную пятерню.

— Разозлился старик, а доказать не сумел. Ну, добро, рассказать, значит, о себе? Ничем не примечательная жизнь: не полководец, не герой, в германской войне не участвовал, наград никаких… А просто: жил-был под Рязанью, в деревне Константиново, на берегу Оки крестьянин Александр Есенин со своей женой Татьяной. И вот родился у них сын. Нарекли его Сергеем. Событие это произошло 21 сентября 1895 года.

Есенин рассказывал о себе короткими, отрывочными фразами.

— Учился в земской школе. Лет тринадцати меня отдали во второклассную церковноприходскую школу. Родные хотели, чтоб я стал сельским учителем.

Рос озорным и непослушным. Дрался на улице. Дед подзадоривал: дерись, дерись, Серёга, крепче будешь!

И Есенин непроизвольно сжал кулаки, готовый, кажется, хоть сейчас выйти на стенку.

— Ездил с ребятами в ночное. Стихи начал слагать с малых лет. Сперва подражал частушкам. Потом песням. Потом просто сам по себе.

Окончил школу и уехал в Москву. Работал в типографии. Поступил в Народный университет. Пробыл там полтора года и вернулся домой из-за отсутствия средств. Потом махнул в Питер.

В 1916 году был взят на военную службу…

И словно что-то вспомнив, Есенин вдруг озабоченно оглядел полки с книгами.

— А профессор-то по рассеянности забыл поставить на место томик! Ладно, принесёт, — махнул он рукой. — Очень скоро я угодил в штрафной батальон. Там, на фронте, и застала меня революция. С той поры я и иду в ногу с Советской властью! — И Есенин с шутливой церемонностью поклонился нам.

Попрощавшись, мы вышли на улицу. У ворот консерватории Огурцов остановился.

— Профессора пересилил! А по стихам будто простой мужичок деревенский. Наматывай, брат, на ус!

Знойный московский август. В трамвае № 4 по Мясницкой качу к Казанскому вокзалу — написать в газету очерк о безработных ночлежниках Ермаковки.

Огромное здание ночлежного дома никогда не пустует. Вместе с приехавшими на заработки в Москву плотниками,

каменщиками, пильщиками здесь много нищих, жуликов, воров и беспризорных. Воздух устоявшийся, ночлежный.

В полутьме коридора я увидел небольшую группу прилично одетых людей и среди них женщину. Они прошли в зал. Вслед за ними густой толпой повалили ночлежники. Вскоре из зала послышались аплодисменты, и чей-то громкий, удивительно знакомый голос начал читать стихи.

Я бросился к дверям и, ошеломлённый, остановился у входа: среди рассевшихся на скамьях, подоконниках и просто на полу в самых живописных позах обитателей ночлежки, на днище перевернутого бочонка стоял с открытой головой Есенин и, размахивая руками, громко читал стихи:

Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

В зале стояла удивительная тишина, и необычность этой тишины потрясала. Затаённое дыхание людей изредка нарушал чей-то приглушённый кашель. На подоконнике, свесив ноги в разбитых опорках, сидел небритый, измождённый человек и, опустив на руки седую голову, покачивал ею в такт стихам, вспоминая, видимо, свою минувшую молодость, Было видно, что стихи Есенина трогали души этих людей, обойдённых жизнью.

Увлечённый рассматриванием слушателей, я сначала не обратил внимания на спутников Есенина. Женщина была мне незнакома, но в невысокой худощавой фигуре, стоявшей невдалеке от бочки, я сразу признал поэта Василия Казина.

Прочитав несколько лирических стихотворений, Есенин спрыгнул с бочонка.

— Видал, брат! — Он хлопнул Казина по плечу. — Меня ведь здесь каждый папиросник знает. Теперь твоя очередь читать!

Казин охотно поддакивал, молча кивая головой, однако выступать отказался, ссылаясь на свой тихий голос.

— И без меня хорошо прошло.

В углу зала громко плакала старая растрепанная женщина.

Окруженный ночлежниками, Есенин с трудом выбрался в коридор.

Мы с Казиным подошли к плачущей женщине.

— Что за беда стряслась у вас? — участливо спросил он.

Женщина сердито махнула рукой:

— А вон тот, ваш, кудрявый… Пока он там читал, у меня кто-то из кармана деньги вытащил, — и, размазывая но грязному

лицу слезы, она зло оглядела окружающих. — У, ироды проклятые!

— Вот тебе и отношение к поэзии, — вздохнул с улыбкой Казин. — Пойдём.

По дороге к выходу он пояснил, что в ночлежку привез его Есенин. «Поедем, — пригласил он, — поглядишь, как меня простые люди встречают. Увидишь, как они любят стихи».

Есенин безоглядно верил в могучую силу поэзии, в её влияние на человеческие сердца. В этой глубокой убежденности таилась и его собственная сила.

Из Пятигорска приехал близкий друг и поклонник Есенина драматург Алексей Славянский. Вдвоём с Есениным они привлекают внимание всех встречных. Синяя черкеска с широкими завёрнутыми рукавами, кавказский пояс, кинжал и шашка в богатом серебре, на спине — голубой башлык, лихо заломленная папаха, под густыми, сросшимися бровями жёлтые глаза уссурийского тигра — таков по внешности Славянский. И рядом с ним, в модном костюме — Есенин, только что вернувшийся из-за границы.

Бывший чабан, выросший без родителей, Алеша Славянский был всего-навсего начальником клуба одной из кавалерийских дивизий, расквартированных на Тереке.

Его пьесы «Красный орлёнок», «Пять ночей» и «Сосны шумят» шли во многих театрах страны. И в каждый свой приезд в Москву, получив в охране авторских прав накопившийся гонорар, Славянский обязательно собирал друзей и устраивал шумный праздник.

Есенина Славянский боготворил. И поэт отвечал ему самыми чистыми дружескими чувствами.

Мы направлялись в кавказский духанчик, напротив телеграфа, где у Славянского был знакомый повар-грузин.

О своём пребывании за границей Есенин рассказывает глухо, нехотя.

Вместе с Айседорой Дункан они вылетели на самолёте в Германию. Дункан руководила детской хореографической школой, и дети должны были прибыть за границу вслед за ними.

Непривычный к суматошной артистической жизни и частым переездам из одного города в другой, Есенин уставал от этого путешествия.

— Поверишь, минуты не мог уделить работе, — с горечью вздыхал он, хмуря лоб, — чтобы сесть за стол, за стихи. То гости мешают, то встречи и банкеты. А останешься с Изадорой! — и поговорить не о чем. Она по-русски ни бельмеса, я по-английски

— тоже ни слова.

— Неужели ни слова?

— Понимать-то понимал, но разговаривал только на русском языке. Разве наш язык по богатству можно сравнить с любым иностранным? Там все — вундербар или — о-кэй. «Как вам нравится наш русский лес?» — «О-кэй!» — «А наша русская зима?» — «О-кэй!» — «А наши девушки?» Всё равно «о-кэй». В Берлине один немецкий драматург, собиравшийся в Москву, попросил меня найти такое слово, чтоб оно могло годиться в разговоре на любой случай. Подыскал я такое слово — чудесно. «Как вам русский лес?» — «Чудесно!» — «А девушки?» — «Чудесно!» По он почему-то каждый раз забывал и отвечал: «Чедузно». Бывало, спросишь: «Как вам наша русская зима?» — «Чедузно». Решил он всерьёз русским языком овладеть. Читает по самоучителю: «Я поехал в Украину». Поправляю его: «По-русски надо сказать — на Украину». — «Понял: не «в», а «на». Я поехал на Крым…» — «Не на Крым, а в Крым». — «Ага, понял. Я поехал в Кавказ…» — «В Кавказ не говорят. Правильно на Кавказ». — «Ясно. Я поехал на Сибирь». — «На Сибирь — нельзя. В Сибирь». Рассвирепел он: «Доннерветтер, когда — на, когда — в, какие же здесь правила?» — «А нет правил. Просто — на Кавказ и в Сибирь, на Украину и в Крым… Без всяких правил!» Нет, брат, ни одному иностранцу никогда не выучиться настоящему русскому языку! Это всё запоминается с детства. У них — о-кэй, вундербар, а у нас на это двадцать слов с различными оттенками найдется: чудесно, обворожительно, прекрасно, великолепно, волшебно, восхитительно, сказочно, бесподобно, дивно, и бог знает ещё сколько…

И так мне там тоскливо и тошно стало, просто невмоготу. Каждый день во сне вижу — то деревню, засыпанную снегом, то деда, то бабку с чёрным котом…

Напротив телеграфа мы спустились в подвальчик. Здесь за столом Есенин продолжил свой рассказ:

— По радио там с утра до вечера музыка, можешь слушать её в любом городе, на любом расстоянии, сидя в собственной квартире. Но меня грызла тоска. Нестерпимо тянуло домой! На родину. Где так хорошо. Так сказочно. Дивно. Прекрасно. Обворожительно. Бесподобно. Волшебно. Восхитительно…

— И чедузно, — добавил Славянский, разливая по бокалам светлое цинандали.

Есенин поднял бокал:

И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли,

Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!
Не отягивай чугунной радугой
Нив и гранитом рек.
Только водью свободной Ладоги
Просверлит бытие человек!
Не вбивай руками синими
В пустошь потолок небес:
Не построить шляпками гвоздиными
Сияния далёких звёзд.
Не залить огневого брожения
Лавой стальной руды.
Нового вознесения
Я оставлю на земле следы.
Пятками с облаков свесюсь,
Прокопытю тучи, как лось;
Колёсами солнце и месяц
Надену на земную ось!

Это был отрывок из его «Инонии».

Москва торжественно отмечает 125-летие со дня рождения Пушкина.

У Дома Герцена собираются писатели. Много знакомых: Казин, Орешин, Кириллов, Городецкий. Есенин в сером костюме, в руках огромный венок из живых цветов. Вот кто-то тронул его за плечо, и он быстро, с юношеской готовностью обернулся к приятелю, и на лице его сразу зажглась добрая, широкая улыбка. Казалось, он улыбался всему миру: деревьям, дню, облакам, людям, цветам, — улыбка у него была чистосердечна и жизнерадостна, он будто звал улыбаться с собой всех окружающих.

Уже начинало вечереть, когда писательская колонна тронулась по Бульварному кольцу к памятнику Пушкина.

Казин сосредоточенно молчит, ему предстоит читать новые стихи. Есенин идёт немного впереди, справа, его обвитую предвечерним июньским солнцем пепельно-золотую голову видать издалека. Он возбуждённо оглядывается по сторонам. Его узнают сразу, но он делает вид, будто не замечает любопытных взглядов.

Венок в молчании возлагается к подножию памятника. Девочки-школьницы кладут рядом небольшой букет жёлтых кувшинок и белых водяных лилий.

Бронзовый Пушкин с задумчивым дружелюбием глядит на своих почитателей, — один из них, самый старый и седой, профессор Сакулин приветствует поэта от имени благодарных потомков.

На отшлифованный до блеска зеркальный гранит пьедестала, отражающий розовое небо, поднимается Есенин. Его ладная фигура окаймлена зеленью венка. Обычно бледное лицо сейчас озарено румянцем волнения. И вероятно, от непривычной торжественности момента он слишком громко, завышенным, звенящим голосом начинает читать свои стихи, обращённые к Пушкину. Он читает их так, будто даёт клятву тому, чей могучий дар стал русской судьбой, кто, преодолев все жестокие превратности, остался «в бронзе выкованной славы».

Есенин читает, вытянув вперёд свои руки и будто дирижируя ими над головами собравшихся:

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе —
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Как бы подчёркивая глубокий смысл своих слов, он покачивается из стороны в сторону, весь отдавшись проникновенности чтения.

Вечер полон красок и звуков, но нежная светлынь неба по-летнему ещё долго не меркнет. Где-то на площади нетерпеливо позванивают остановленные трамваи, но они не могут заглушить напряжённого есенинского голоса, дающего поэтическую клятву великому Пушкину:

Но, обречённый на гоненье,
Ещё я долго буду петь…
Чтоб и моё степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть!

Пушкин — вот чьё сердце согревало мечту Есенина, чей немеркнущий образ постоянно сиял в его собственном сердце!

Писатель Сергей Буданцев живёт в Леонтьевском переулке, рядом с редакцией «Юношеской правды». Весёлый, шумный, вечно приподнятый и возбуждённый, с детскими ямочками на тугих румяных щеках и длинной прядкой тонких волос, отважно переброшенных через всю сияющую лысину, выдумщик и

непоседа, Буданцев всегда полон азарта.

— Пошли к Есенину! Он только что приехал с Кавказа, привёз много новых стихов…

Буданцев влюблен в литературу, он дышит ею, живёт, следит за всеми событиями литературной жизни, радуется каждой новой удачной книге.

— Говорят, очень прелестны!

По дороге встречаем Всеволода Иванова. Его широкоскулое сибирское лицо, с округлыми отверстиями слегка приподнятых ноздрей, озабочено. Он куда-то спешит.

— Пошли, пошли, — тянет его за руку Буданцев.

Всеволод Иванов отмахивается:

— Он хочет, чтоб с ним в гости шла вся Москва…

Поворачиваем в Брюсовский переулок. Входим в мрачный московский дворик, покрытый асфальтом и сдавленный огромными кирпичными домами. Медленный лифт поднимает нас, кажется, под самые небеса.

Тоненькая, стройная девушка с пепельными волосами встречает и ведёт нас по коридору в дверь направо.

Младшая сестра Есенина, Шура, похожа на брата — те же русые волосы, светлые глаза, девичья несмелость в улыбке.

Буданцев нетерпеливо оглядывает комнату.

— А где же Сергей?

— Пошёл прогуляться, — негромко отвечает сестра, собирая в коробку разбросанные по дивану разноцветные клубки ниток.

— Значит, не скоро вернется, — огорчённо поглаживает лысину Буданцев. И поясняет: — Сергей всегда работает на прогулках. Бродит по переулкам в одиночестве и сочиняет. Придёт домой и запишет. И почти всегда готовое стихотворение. А сегодня вечер особенно хорош, весенний! Можно поэму сочинить. Ну как, друзья, будем ждать?

Всеволод Иванов спешит на заседание в «Красную новь».

— А ты не уходи, — оставляет меня Буданцев, — я скоро вернусь, провожу Всеволода. А Сергея не отпускай!

Оглядываю комнату. Письменный столик. У стены старый диванчик. Сюзане. Висячий абажур. Этажерка с книгами.

Шура недавно приехала из деревни и ещё полна воспоминаний о доме.

— Недавно у нас был страшный пожар, — рассказывает она, — сгорело более двухсот построек. И наш дом тоже сгорел. До утра стлался дым. А на рассвете вместе с другими погорельцами мы бродили по пожарищу, собирали и стаскивали в кучу полусгоревшие вещи, которые удалось вынести. Среди них, между прочим, были книги и рукописи Сергея.

За последние слова я готов её расцеловать. Как хорошо, что они догадались спасти рукописи!

Шура сидит на диванчике, свет из-под абажура падает на её тонкие девичьи руки, на подвижные пальцы, она усердно что-то вышивает.

— В нашем Константинове нет ничего примечательного. Разве сады да синяя Ока. На лодках приезжают к стаду бабы, коров доить. Девочек у нас рано приучают к работе. А мальчишки ездят в ночное или на Оку коней поить. И Сергей вместе с ними ездил…

В сенокосную пору он помогал деду косить. Раздольны, красивы наши заливные луга! Мужики и мальчишки всё лето в лугах, в шалашах живут. По неделям домой не приезжают. Сергей любил эту веселую работу…

Зимой мы ходили в школу. У нас школа посреди села была. Сергей учился хорошо, с охотой, но был непоседлив, озорничал, и в третьем классе за баловство его оставили на второй год. Однако школу он закончил с похвальным листом. Этот похвальный лист долго висел у нас дома на стене в рамке.

Я не перебиваю Шуру ни словом, ни одним лишним движением, боясь спугнуть её застенчивое расположение.

— На высокой горе — церковь. Березы с грачиными гнездами. Старое кладбище. Неподалеку имение помещицы Кашиной. В юности Сергей был влюблен в неё…

Шура рассказывает о золотой рязанской осени, о необыкновенно красивой русской зиме, о весёлых святках, когда Сергей приезжал домой на каникулы.

После пожара отец Есенина купил небольшую избушку и поставил её в огороде. Всё в ней было бедно и убого: половину избы занимала русская печь, небольшой стол, три стула, деревянная кровать — вот и всё убранство.

— Но распахнешь маленькое оконце, и перед глазами — настоящая сказка! Цветут яблони и вишни…

Разложив на диване нехитрые предметы из своей коробки — ножницы, нитки, напёрсток — и обозначив ими, где домик, где яблоня, где вишни, Шура увлечённо продолжает рассказывать об отце, о матери, о детстве брата, даже не заметив, как в комнату со свертками в руках тихо входят Есенин и Буданцев. Остановившись у дверей, они с любопытством слушают её рассказ.

— Отец был худощавый, невысокого роста. Глаза голубые, чистые, всегда по ним угадаешь его настроение. Такие же глаза и у нашего Сергея…

Не замечая брата, Шура рассказывает о том, как отец в

детстве пел в церкви, на клиросе. У него был небольшой, но приятный тенор, и ей нравилось, когда он пел песню: «Прощай жизнь, радость моя».

— Эту песню в семье любили все — и мать, и сестра Катя, и я, — бесхитростно делилась Шура.

Уже не в состоянии сдержаться от улыбки, Сергей Александрович прикрыл ладонями глаза сестры.

— Ах ты, красавица моя рязанская! — И он жарко расцеловал её, смущённую до слез. Она тут же выбежала из комнаты.

Сидим за чаем и слушаем новые стихи поэта. Есенин читает сегодня особенно задушевно.

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.
До сегодня ещё мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес…

Нежаркая тифлисская осень. Открытые трамвайные вагончики и детские дудочки кондукторов, узкие, кривые улочки старого Авлабара, истошные крики ишаков, знаменитые серные бани с восточными инкрустациями из маленьких зеркал, где бывали Грибоедов и Пушкин, духан «Симпатия» с живой рыбёшкой в фонтане, гениальные в своей наивной простоте чёрно-жёлтые клеёнки художника-самоучки Пиросмани, воды Лагидзе, ветхие деревянные балкончики и ни с чем не сравнимое грузинское радушие и гостеприимство!

Совсем недавно здесь побывал Есенин. О нём много рассказов и легенд.

Есенин встречался на Кавказе с грузинскими поэтами и журналистами. О своём знакомстве с ним рассказал живший в Тифлисе поэт Михаил Юрин.

— Однажды я пошёл в гостиницу к приехавшему из Москвы критику Илье Вардину. В номере было полутемно. В глубоком кресле, спиной к окну, сидел какой-то молодой человек в сером пальто и в шляпе. Он сосредоточенно водил тростью по паркету. Отрекомендовав меня как руководителя местной поэтической молодежи (я это принял как должное), Вардин назвал незнакомца:

— Сергей Есенин.

Я онемел. В этот день в «Заре Востока» были опубликованы его «Стансы», посвящённые П. И. Чагину. Мне очень хотелось спросить у Есенина, что значит слово «стансы». Но я постеснялся…

Юрин рассказал о том, как Есенин выступил на собрании партийного актива Закавказья.

— Это происходило в огромном зале кооперации, недалеко от Верийского моста. Здесь собрался партактив Грузии, Армении и Азербайджана. Собрание вёл секретарь Заккрайкома Серго Орджоникидзе. Среди других в президиуме находился и Сергей Миронович Киров.

Узнав, что в Тифлисе Есенин, товарищи попросили меня пригласить его на собрание партактива.

— Бери машину и вези его сюда.

Я помчался в гостиницу. «Захвачу ли его дома?» Стучу. Дома!

— Сергей Александрович, собирайся! Тебя приглашают выступить перед партактивом. Лучшие люди собрались…

Есенин как-то даже немного растерялся. Потирая руки и волнуясь, он стал ходить по номеру.

— Как же это? Так прямо и поехать?.. Просто так, сразу…

— Так и поедем. Народ ждёт.

Он попросил разрешения на минутку забежать в парикмахерскую побриться, — и вот мы уже подъезжаем к клубу.

Не раздеваясь, мы прошли по залу на сцену. Увидев Есенина, все присутствующие поднялись и стоя приветствовали его, пока он шёл между стульев. Есенин был заметно растроган. Поднявшись на сцену и положив на стул шляпу и трость, он по приглашению товарища Орджоникидзе стал между столом президиума и трибуной и сразу стал читать стихи:

Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с берёзовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста…

Слушали Есенина с жадным вниманием. А когда он дошёл до предпоследней строфы:

«Ну говори, сестра!» И вот сестра разводит,
Раскрыв, как библию, пузатый «Капитал»,
О Марксе,
Энгельсе…
Ни при какой погоде

Я этих книг, конечно, не читал.
И мне смешно,
Как шустрая девчонка
Меня во всём за шиворот берёт…

Грянули такие овации, что ему пришлось несколько времени переждать.

Есенин читал отрывки из поэмы «Ленин», «26 их было, 26», «Русь Советская». И после каждого стихотворения зал поднимался и стоя приветствовал поэта.

Чтобы дать ему отдохнуть, несколько стихотворений прочитал и я. Конечно, с менее оглушительным эффектом…

Затем снова выступил Есенин. Но уже с лирикой. Особенно тепло встретили его «На Кавказе», только что напечатанное в «Заре Востока». С глубокой, непередаваемой нежностью прозвучали заключительные слова:

И чтоб одно в моей стране
Я мог твердить в свой час прощальный:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

Это была не буря, а настоящий ураган приветствий! Хлопали от всего сердца…

По телефону звонит поэт Василий Наседкин.

— Приходи в Дом Герцена, Сергей будет читать новую поэму.

Не знаю почему, но встреча была организована не в зале, а в небольшой комнатке на втором этаже. За столом я увидел Есенина и Вороненого. Справа, у стены, сидели, не раздеваясь, Зинаида Райх и Мейерхольд.

Народу было немного. Кроме Наседкина, пришли поэты из «Перевала», студенты из Литературного института. У кафельной печки устроились на диване несколько подвыпивших молодых людей. Они, несомненно, ждали очередного литературного скандала.

В комнате было прохладно. Есенин выступал в шубе с меховым воротником. Шапку он снял и положил на стол. Неяркий свет лампочки, висевшей под потолком, невыгодно освещал его бледное, усталое лицо, резко подчёркивая собранные на лбу морщины и оттеняя пугающую синеву утомлённых подглазий. Есенин выглядел в этот вечер больным и постаревшим. Не поднимая глаз, с опущенной головой, голосом, проникновенно

тихим и немного хриповатым, он начал читать свою последнюю поэму — «Анна Снегина»:

Село, значит, наше — Радово.
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места…

В творческий кругозор поэта вошла тема революции, она подсказала ему и новую форму — чистую и ясную.

Запомнился отрывок, где показана беседа героя поэмы со своими односельчанами о Ленине:

…Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Ещё не настал, мол, миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?
И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягчённый думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил: «Он — вы».

Есенин читал поэму негромким голосом, как бы гордясь этой достигнутой им эпической формой стихосложения, не нуждающейся ни в каком внешнем украшательстве.

Рисовал ли он пейзаж, приводил ли разговор крестьян, вводил ли слушателей в мир переживаний своего лирического героя, всё было просто и сильно.

…Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином

Плетнёвый его палисад.
…Заря холодней и багровей.
Туман припадает ниц.
Уже в облетевшей дуброве
Разносится звон синиц.

Картинно рисовал Есенин суровые, грозные годы революции в деревне:

Эх, удаль!
Цветение в далях.
Недаром чумазый сброд
Играл по дворам на роялях
Коровам тамбовский фокстрот.
За хлеб, за овёс, за картошку
Мужик, залучил граммофон, —
Слюнявя козлиную ножку,
Танго себе слушает он…

Компания у кафельной печи поэму явно не одобряла.

Ощущая глухую атмосферу недоброжелательства, Есенин, не поднимая глаз, продолжал тем же негромким голосом читать поэму, сурово сомкнув над переносицей широкие брови, как бы объявляя этой собранной, необычно скромной манерой чтения и всем своим отрешённым поведением непримиримый вызов этим, ехидно ухмыляющимся представителям литературной богемы, а заодно и всей кабацкой Москве.

Никогда потом не приходилось слышать такого чтения, проникновенного и выразительного, полного необыкновенной простоты и непередаваемой задушевной напевности, с каким в тот мартовский вечер читал Есенин «Анну Онегину» в небольшом кругу своих друзей и недругов. А заключительная, лирическая часть поэмы невольно вызывала в памяти образ другого русского поэта, кому так завидовал Есенин и к кому пришёл он после долгих своих творческих скитаний…

Сложные судьбы героев поэт сумел показать в небольшой лирической поэме.

Молча выслушал Есенин критику Воронского, но когда некоторые из молодых «перевальцев» предложили обсудить поэму, встал и вспыльчиво возразил:

— Я не нуждаюсь в вашей критике. Да кто тут будет судить меня? Те, кто подражает мне?

Из всех молодых поэтов Есенин отметил лишь дарование

Наседкина.

— У него хоть и небольшой поэтический голос, но свой, ни на кого не похожий…

Огромное впечатление произвели на всех «Персидские мотивы», прочитанные поэтом в заключение вечера.

Всё же Есенин был заметно огорчён. Засунув тетрадку со стихами в боковой карман шубы и взяв со стола шапку, он ушёл вместе с Мейерхольдом и Зинаидой Райх.

В конце декабря 1925 года в кинотеатре «Художественный», на Арбатской площади, был организован общественный просмотр нового фильма «Броненосец «Потёмкин». На это праздничное событие собрались писатели, артисты, художники, журналисты, корреспонденты иностранных газет. Настроение, как и обычно в таких случаях, приподнятое.

Окружённые друзьями и знакомыми в центре фойе стояли молодые артисты из группы Эйзенштейна и вспоминали различные интересные случаи и эпизоды из жизни Одессы, где проводились съемки фильма.

Сверкая толстыми стеклами своих заграничных круглых очков, к нашей группе, в сопровождении незнакомого сгорбленного старичка, подошел писатель Борис Пильняк и сообщил новость:

— Слыхали, Есенин повесился!

Весь зал обернулся на эти слова. Я, вероятно, ослышался. Не может быть! Совсем недавно с поэтом Павлом Радимовым мы навещали его в лечебнице профессора Ганнушкина на Девичьем поле. И вдруг…

— Да, да, — подтвердил спутник Пильняка, как оказалось, ленинградский художник-график, близко знавший Есенина. — В гостинице «Англетер». Я только что из Ленинграда.

Новость ошеломила всех. Вспомнилась поэма Есенина «Чёрный человек»:

…Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один…
И разбитое зеркало…

Весь вечер не выходили из головы эти стихи — предчувствия

поэта.

Зал Дома печати затянут чёрным крепом. Бледное, безжизненное лицо Есенина, с навеки сомкнутыми, будто приклеенными прямыми ресницами и с тщательно расчёсанными неживыми влажными волосами, со слушающим выражением печальных бровей, покоится среди цветов.

Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами…

Жил… Странно слышать это слово в прошедшем времени.

Маленькая пятилетняя дочь поэта Танюша читает у гроба отца стихи Пушкина. Слушать это без слез невозможно.

Напугал неожиданный бенгальский высверк зажжённого фоторепортёром магния, лёгкий вскрик женщины в чёрном, её обморочное под полуоткрытой вуалью лицо и упавшая на скамью изящная бледная рука с кружевным платочком.

Запечатлелось в памяти суровое, скорбное лицо матери, испуганные глаза сестёр и траурная лента на венке из живых цветов с золотыми буквами:

ВЕЛИКОМУ ПОЭТУ РОССИИ.

Имя Есенина неоднократно упоминается в дневниках Александра Блока.

«Год 1918-й.

4 января.

На улицах — плакаты: все на улицу 5 января…

К вечеру — ураган (неизменный спутник переворотов).

Весь вечер у меня Есенин.

7 января.

Днём — пишу статью для «Знамени труда». Что-то будет завтра?»

Интеллигенция на распутье. О чём могли весь вечер разговаривать два поэта? Блок полон тревожных дум о будущем России. Он пишет статью «Интеллигенция и Революция».

…«Россия гибнет», «России больше нет», «вечная память России» — слышу я вокруг себя…

Но предо мной — Россия: та, которую видели в устрашающих и пророческих снах наши великие писатели, тот Петербург, который видел Достоевский, та Россия, которую Гоголь назвал несущейся тройкой.

Россия — буря.

…России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и по-новому великой…»

Именно в эти дни Блок с невиданным, лихорадочным запалом работает над поэмой «Двенадцать». Поэтическая интеллигенция, среди которой вращался поэт, отшатнулась от него. Единственный из участников анкеты, опубликованной в вечернем выпуске газеты «Петроградское эхо»: «Может ли интеллигенция работать с большевиками?», Блок ответил: «Может и обязана».

Два поэта вслушиваются сердцами в будущее.

На улице стрельба.

У керосиновой лампы поэты ведут разговор. И несомненно, на ту же тему, над которой в эти бессонные ночи мучительно думает Блок.

«Дело художника, о б я з а н н о с т ь художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух».

Что же задумано?

«П е р е д е л а т ь в с ё. Устроить так, чтобы всё стало новым, чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, весёлой и прекрасной жизнью».

Вот о чем говорят в эти вечера два поэта.

Запись в дневнике.

«22 января.

Декрет об отделении церкви от государства.

Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «утре России» в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему — «изменники». Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья «искренняя», но «нельзя простить».

Господа, вы никогда не знали России и никогда её не любили».

Блок спешит закончить «Двенадцать». В феврале в «Знамени труда» появляются его «Скифы».

Накануне, 18 февраля, германские войска после разрыва мирных переговоров в Брест-Литовске начали наступление на Советскую Россию.

21 февраля 1918 года было опубликовано написанное Лениным обращение Совнаркома «Социалистическое отечество в

опасности».

В этот же день — запись в дневнике Блока:

«…15000 с красными знамёнами навстречу немцам под расстрел.

Ящики с бомбами и винтовками.

Есенин записался в боевую дружину».

Следуя призыву Ленина, юноша-поэт с оружием в руках уходит в ночь, в пургу, в снежную неизвестность защищать молодую Республику Советов,

Через два дня немецкие войска были остановлены и разгромлены на подступах к Петрограду — под Нарвой и Псковом.

А в октябрьские дни Есенин, вступив добровольцем в красногвардейский отряд, ушёл на фронт против генерала Краснова. Об этом доселе неизвестном, но очень немаловажном факте из биографии Есенина рассказал мне старый большевик И. М. Гронский, комиссар 70-й пехотной дивизии, командовавший в те годы отрядами Красной гвардии Двинского укрепрайона.

— Я часто бывал в Питере и встречался там со многими поэтами. Там впервые я и познакомился с Есениным.

В отсветах революционных гроз формировался талант молодого поэта. И невольно вспоминались рассказы наборщика Андреева об участии Есенина в рабочих сходках, когда они вместе ездили в село Крылатское. Молодой типограф распространял революционные листовки и выполнял отдельные задания старых членов партии.

В ином свете выглядела теперь дружба Есенина с его школьным товарищем Гришей Панфиловым. Ясней и понятней становится недосказанность в их переписке. Панфилов тоже писал стихи. Они вместе мечтали стать поэтами, посвятить свою жизнь обездоленному народу.

Уезжая после окончания школы из Спас-Клепиков, Сергей подарил любимому другу фотографию и на обороте написал стихи, где выразил свои чувства и мысли о высоком назначении поэта.

Не просто было порвать со всем тем, привитым им в церковной школе, отказаться от образа Христа, но общение с рабочим классом помогало юноше Есенину распознать настоящую правду. Он бывает на сходках, участвует в подпольной работе. Об этом мы узнаём из его писем к Грише.

«Ты обижаешься, почему я так долго молчу, но что я могу сделать, когда на устах моих печать, да и не моих одних. Мрачные тучи сгустились над моей головой, кругом неправда и

обман.

Твоя неосторожность чуть было не упрятала меня в казённую палату… За мной следят, и ещё совсем недавно были обыски у меня на квартире. Объяснять всё в письме не стану, ибо от сих пашей и их всевидящего ока не скроешь и булавочной головки. Приходится молчать…»

«Благослови меня, мой друг, на благородный труд, — обращается он в другом письме к Панфилову. — Хочу писать «Пророка», в котором буду клеймить позором слепую, увязшую в пороках толпу… Отныне даю тебе клятву, буду следовать своему «Поэту». Пусть меня ждут унижения, презрения и ссылки, я буду твёрд, как будет мой пророк, выпивающий бокал, полный яда, за святую правду, с сознанием благородного подвига».

Недавно в государственных архивах обнаружена папка Московского охранного отделения, где приводятся сведения о тайном наблюдении и слежке шпиков за молодым корректором из типографии Сытина, под условной кличкой «Набор».

«Набор» — это была кличка Есенина.

Видали вы, как на солнечной стороне придорожной канавки неожиданно расцветает первый ландыш?

Этот ландыш почему-то напомнил мне Есенина. Как давно все это было! Прошло двадцать с лишним лет.

Сняв шляпу, я не спеша шёл по аллее Ваганьковского кладбища, вспоминая, как и все горожане, редко и случайно навещающие эти места, о многих, дорогих и близких, ушедших от нас людях. Недвижно стояли над тихими могилами кусты жимолости, бузины и бересклета.

Остановившись у раскрытых дверей церкви, откуда доносилось печальное пение хора, я собирался было уже повернуть вправо, как ко мне подлетел одетый в поношенный костюм человек с помятым актёрским лицом и пригласил хриплым голосом:

— Это не там. Пожалуйте за мной! — И, повернув от ворот налево, по аллее, посыпанной золотистым песком, привел меня к могиле с небольшим гранитным камнем, где у подножия лежали свежие цветы.

«Откуда он знает, к кому я пришел?» Но он действительно угадал. На памятнике в овале был выбит барельеф и под ним скромная подпись: «Сергей Есенин».

Я остановился у ограды, охваченный нахлынувшими воспоминаниями.

Ожили прошедшие годы, вспомнился белый особняк в

глубине двора на Тверском бульваре и поэт, читающий в тесном кругу близких друзей свою последнюю поэму, привезённую с Кавказа.

И перед мысленным взором встал желтоволосый деревенский отрок.

Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.

Девушка-подросток, похожая на берёзку, высокая и тонкая в поясе, легко наклонилась и бережно положила к подножию памятника небольшой букетик цветов.

Я навестил сестру поэта, Шуру. Она показала новые книги брата, изданные в разных странах — в Китае, Японии, Англии, Франции, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Польше, — стихи Есенина теперь читают всюду.

— В Братиславе есть набережная имени Есенина.

Разглядываю старые альбомы. Есенин в юности. Вот он с сёстрами. С матерью. Вот после первого возвращения из Москвы.

Москва. Берлин. Париж. Нью-Йорк.

Знакомая фотография: Сергей Александрович с сестрой Катей на Тверском бульваре. У него в руках детская гармошка. Снимок сделан после его возвращения из Америки.

Телефонный звонок. Шура берет трубку:

— Хорошо, мы ждём.

У палисадника останавливается машина. Высокий моряк входит в квартиру, он вежливо козыряет хозяйке и приглашает всех в машину.

— Может, выпьете чайку?

Моряк показывает на часы.

— В нашем распоряжении всего девять минут. Аврал.

Машина летит по шоссе: острый весенний ветерок скользит по лакированным крыльям, врываясь в полуоткрытое окно.

Искоса гляжу на моряка, но его загорелое лицо торжественно-непроницаемо.

Сквозь полутемный тоннель вылетаем на простор, облака объяты жарким пламенем заката.

Крутой разворот по полудуге аллеи, и машина останавливается у Химкинского речного вокзала. Моряк предупредительно открывает дверцу:

— Пожалуйте.

Проходим через гулкое, просторное здание речного вокзала и

по широким ступеням спускаемся на деревянную, надраенную и выгоревшую на солнце белёсую пристань. Непередаваемо прекрасна в этот закатный час широкая водная гладь, до краёв налитая солнечным пурпуром. На всем просторе — ни души, ни паруса, лишь одинокие чайки, раскинув узкие розовые крылья, кружатся над опрокинутой в воду облачной бездной.

И вот, где-то вдалеке, у поворота возникает лёгкий, похожий на мечту, силуэт белоснежного корабля.

— Корабль построен венгерскими рабочими, — негромко докладывает моряк, — своим ходом он пришёл в Москву, обогнув Европу…

Отсалютовав сиреной о прибытии и взбудоражив винтом аложемчужную пену, корабль медленно разворачивается перед пристанью, и мы видим на нём озарённые вечерним солнцем золотые буквы, расположенные по белому полукружью палубы:

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН.

Как прекрасен этот незабываемый миг!

И в памяти засветился другой вечер, когда Есенин, протянув вперед руки, читал у памятника Пушкину свои стихи, мечтая о народной славе. И вот слава пришла к нему, но, увы, опоздала…

Старший товарищ

Холодный ветреный март. Четыре часа ночи. С пустым ведром и топориком в руках прохожу через узкую арку тёмных ворот на улицу. Срочно нужно нарубить льда на компресс больному: Фурманову опять стало хуже. Нигде — ни во дворе, ни за сараями льда нет. Злой ветер метёт по переулку сухую пыль, насквозь пронизывая тело: я вышел в одной гимнастёрке и с открытой головой.

На улице ни души. У ворот тускло горит одинокий фонарик. Лёд блестит в канаве, возле тротуара. Положив ведро набок, я наискось, полого, стал подрубать топориком лёд и одновременным движением забрасывать его в ведро. И этот глухой, безлюдный переулок, холодный весенний ветер, острые брызги влетающего в пустое ведро льда и особенно запомнившийся какой-то безжизненный, унылый лязг металлической дужки ведра на всю жизнь остались в памяти…

Вместе с врачами писатели по очереди дежурят у постели больного Фурманова.

Сегодня мы дежурим с Безыменским. Жена Дмитрия Андреевича, Анна Никитична, не спавшая несколько суток, забылась в зыбком полусне. Фурманов лежит в соседней комнате, куда ведут несколько невысоких ступеней. Из комнаты доносится хриплое, прерывистое дыхание больного. Недавно Дмитрий Андреевич простудился и получил тяжёлое осложнение. У него сильный жар. Срочно понадобился лёд.

И вот я рублю его топориком и думаю о Фурманове.

Летом 1920 года на Кубани высадился белогвардейский десант генерала Улагая. Для уничтожения отборных офицерских частей, посланных из Крыма Врангелем, в тыл к белым был направлен красный десант. В этом десанте были и наши армавирцы.

Погрузившись на баржи и лодки, отряд по рекам Кубани и Протоке двинулся в сторону станицы Гривенской, где расположился штаб Улагая, от фронта в шестидесяти с лишним километрах.

Перед отрядом была поставлена задача: скрытно пробраться в тыл к противнику, захватить станицу и отрезать белым возможность отступления к морю.

Против отряда в тысячу двести бойцов, собиравшегося атаковать станицу, оказался противник, превосходивший его впятеро. Белые пошли в контратаку.

Но случилось невиданное — командир отряда Ковтюх и

комиссар Фурманов с двадцатью пятью конниками бросились в атаку на белых и своим неожиданным ударом повернули весь ход сражения: противник был сброшен в Протоку. Казаки тонули в мутной воде, а те, кто достигал берега, уничтожались огнём бойцов засады, скрытых на той стороне реки.

В плен попало около полутора тысяч белогвардейцев и среди них несколько офицеров и даже генералы.

Но из маленького отряда героев, первыми бросившихся в прорыв, в живых осталось лишь семеро, остальные пали в бою. Об этом подвиге узнала вся Кубань. Оттуда-то и запала в память эта необычная фамилия — Фурманов.

В начале двадцатых годов в особняке Морозова, на Воздвиженке, где помещался Пролеткульт, по субботам устраивались литературные вечера. На одном из этих вечеров присутствовал и Фурманов. Он уже в то время собирал материалы к своему роману о писателях, но об этом стало известно гораздо позже, а тогда его пристальное, глубокое внимание к нам, молодым, казалось необычным. Я читал на вечере рассказ, действие которого происходило в годы гражданской войны на Кубани. После вечера Фурманов первым заговорил со мной. Он сделал несколько замечаний по прочитанному и поинтересовался, откуда автору известны события, описанные в рассказе.

Узнав, что я родом из Армавира, Фурманов весело погладил свои волосы (это был постоянный жест, выражающий различные состояния его настроения).

— Вот так здорово! А я как раз изучаю историю становления Советской власти на Кубани. На ловца и зверь бежит.

И он стал расспрашивать о жизни армавирских рабочих, быте городской окраины, о взаимоотношениях рабочих с казаками, населявшими ближние станицы, о том, как организовалась в Армавире Советская власть. И очень удивился, услышав, как в 1918 году на заводе «Армалит» наши рабочие штамповали из меди звонкую валюту достоинством в три и пять рублей.

— Вот так да. Замечательный факт!

Выговор у Фурманова был окающий, «ивановский», он твёрдо произносил «е» — белый, оголтелый.

Разговор постепенно перешёл на темы литературные. Дмитрий Андреевич поинтересовался, как живут и работают молодые писатели. Над чем трудятся члены нашей «Молодой гвардии». Как овладевают культурой. Дружно ли мы живём. Есть ли среди нас рабочие, коммунисты, представители интеллигенции. Любим ли музыку. Ходим ли в театры. Бываем ли

на заводах. Чем руководствуемся в творческой работе.

В тоне и обращении Дмитрия Андреевича было столько товарищеской душевной теплоты, а в чистых, правдивых глазах света, что невольно тянуло раскрыть перед ним всю душу и поделиться всем сокровенным и дорогим.

Одобрительное молчание заставляло рассказывать ему о всех своих надеждах и мечтаниях.

В те годы литературные чтения проводились во многих местах: в Пролеткульте, «Кузнице», «Союзе поэтов», в «Рабочей весне», «Молодой гвардии», «Перевале», «Литературном звене», на «Никитинских субботниках»; в любой день можно было попасть на один из таких литературных вечеров, где разгорались жаркие споры вокруг только что прочитанных произведений.

В общежитии писателей — «молодогвардейцев», на Покровке, 3, проводились занятия по литературному мастерству. К нам в гости приходили В. Шкловский, О. Брик, К. Локс и другие литературоведы и критики, представители так называемой школы формалистов. Мы писали рассказы на все «36» сюжетов, подробно изучали и разбирали произведения Чехова, Мопассана, О. Генри, А. Бирса и других выдающихся мастеров новеллы, увлекаясь их формальной стороной. Следует заметить, что от этих занятий мы ничего, кроме пользы, не получили.

Однако Фурманов посчитал необходимым в мягкой, деликатной форме предупредить:

— Одной техникой и внешней стороной в нашем деле увлекаться не стоит. Это болото, заросшее красивыми цветами. Сперва одурманит, а потом затянет, засосёт, и не заметишь, как пропал. Любовь к чистой форме — дело, чуждое нашему классу. Она обезоруживает бойца. Нам надо писать так, чтобы произведение будило, поднимало людей на новые подвиги, освещало дорогу в будущее. В этом — каш долг.

Невозможно представить Фурманова в штатском костюме. Казалось, что военная форма создана специально для него. В ней он всегда подтянут и строг, она скромна и удобна. Собственно, одежда всегда выражает сущность и характер её владельца. Дмитрий Андреевич и в работе по-военному точен и не любит, когда кто-либо из товарищей опаздывает к назначенному часу. Это был стиль его жизни и работы.

Мы встречались на вечерах, съездах, заседаниях и очень часто возвращались вместе на Арбат, где жили недалеко друг от друга.

И было всегда удивительно: откуда в нём столько силы и душевной щедрости ко всем нам, начинающим литераторам!

Стою огорчённый в вестибюле Дома печати. Только что читал

новый рассказ из деревенской жизни, и выступавшие с критикой товарищи разругали его в пух и прах. Фурманов успокаивает:

— Не надо сильно огорчаться, но никогда не берись за малознакомое. Сначала приглядись, всё изучи, примерься, прицелься, а потом уж и бей! Да так, чтоб после тебя за эту тему никому не повадно было браться…

А я стоял и представлял его скачущим на коне рядом с Чапаевым.

Всё это, конечно, правильно, но и обидно за свой промах.

— В жизни ничего так не даётся…

Он рассказывает о своей работе и тех трудностях, которые приходится преодолевать ему и сейчас, когда он уже стал известным писателем.

— Не спеши печатать свои вещи, — говорил он, — по своему опыту знаю: чем больше рукопись выдерживаешь, тем она становится лучше, крепче. Поглядишь свежим глазом, обязательно найдёшь недостаток и улучшишь написанное. Толстой «Войну и мир» восемь раз переписывал. Попробуй-ка возьми «Войну и мир» да перепиши её от руки хоть один раз, просто так… Тогда и оценишь, что значит труд писателя. Это — непрерывный подвиг. По крайней мере он должен быть таким. Конечно, есть и другой, более лёгкий путь — путь халтуры. Он не для нас… Добивайся в рассказах простоты. Простота — это высшая похвала мастеру.

Должен чистосердечно сознаться, что мы, молодые, в те годы излишне увлекались сюжетными построениями и словесным украшательством, да и не только молодые…

Много сил и энергии ушло у нас на пустяки и побрякушки. И как жалеешь теперь о том, что не всегда прислушивался к советам своего старшего товарища!

Дмитрий Андреевич рекомендовал описывать только то, что хорошо знаешь: родную природу, знакомые места, свои переживания и наблюдения, советовал вести дневники.

— Впоследствии спасибо мне скажешь. Из этих как будто бы и малозначащих записей потом и создаются художественные произведения. Так работали и Толстой, и Чехов, и Горький. У нас почему-то это мало прививается. А зря…

Никакая, самая изощренная человеческая фантазия не может поспорить с живой жизнью, — говорил он. — Однажды студентом ехал я на фронт в теплушке вместе с казаками. С ними следовали и кони. Ни одному писателю не пришло бы в голову назвать так своих коней, как окрестили их казаки. Здоровый мохнатый жеребец, например, носил имя… Матрёна! У казака-хозяина, оказывается, когда-то была зазноба, такая же здоровая и рослая, и

звали её Матреной. Вот, поди ж, придумай такое! А какая выразительная подробность. Не правда ли?

Только что закончился урок рисунка. Выхожу с товарищами по факультету из здания Вхутемаса на Рождественку. Уже темнеет. Проходя мимо подъезда Гиза, также расположенного на Рождественке, встречаю Фурманова. У него усталый вид, и даже серая его шапка надета небрежно как-то наспех, на макушку, без присущего ему военного изящества. Под рукой у него неизменный портфель, до отказа набитый рукописями.

Помимо редакторской работы в Гизе, Фурманов занят в Истпарте, несёт большую кучу различных общественных нагрузок и одновременно заканчивает Московский университет по отделению языка и литературы.

— Засосала меня эта редакторская работа, — он со вздохом показал на портфель, — и писать некогда…

Спускаемся по Кузнецкому, потом по Петровке выходим на бульвары. В тишине московского вечера плывут медленные звоны церквей.

Дмитрий Андреевич сетует на отсутствие времени для творческой работы. Писать удаётся только по выходным дням.

— Пришёл к выводу, что работать лучше всего с утра. Пока голова свежая. Но особенно хорошо работать по воскресеньям, когда в перспективе у тебя полный день и торопиться никуда не нужно. А то сидишь, сидишь иногда за листом бумаги, и время летит, и ни одной строки из себя выжать не можешь. Мучительное это состояние…

Я теперь завел у себя специальные папки с различными подготовительными материалами и вырезками из газет и журналов, — говорит Дмитрий Андреевич. — Каждую бумажку помечаю, куда именно и на какую страницу она предназначена. Заметил ещё одну особенность: вначале, когда садишься за стол, работа, как правило, не клеится, идёт со скрипом. Поэтому я стал прерывать работу на таких местах, откуда на следующий день было бы легче начинать писать дальше. Всё это познаешь, к сожалению, на собственном опыте и с большим запозданием… А учебников и руководств на эту тему пока не создано. А следовало бы. Мне очень хочется поделиться с молодыми писателями своим небольшим опытом, но вместе с тем послушать и стариков, перенять у них кое-что для себя полезное. Писательское ремесло требует постоянного совершенствования.

В те дни Фурманов работал над рукописью романа «Мятеж».

Встречаясь с писателями «Октября», «Молодой гвардии»,

«Рабочей весны», близкими ему по творчеству, Фурманов с дружелюбным вниманием относился и к талантливым писателям других литературных направлений. С глубокой симпатией отзывался он о Всеволоде Иванове и Леониде Леонове. Маяковский привлекал его своей сильной натурой поэта-полемиста. Но больше всех любил Фурманов Есенина. Поэт часто приходил в Госиздат и читал Дмитрию Андреевичу свои новые произведения. Ему же он прочитал и «Анну Онегину». Есенин всегда внимательно прислушивался к высказываниям Фурманова. Встречи бывали и помимо Госиздата. Известен эпизод, когда Фурманов, Есенин и ещё несколько писателей ездили под Москву, на дачу к одному литератору. Гости до зари слушали стихи Есенина, и Дмитрий Андреевич при всех дружески обнял и расцеловал поэта.

Окружение Есенина тревожило Фурманова. Он в какой-то степени считал и себя ответственным за его литературную судьбу.

После одной нашумевшей истории, случившейся по вине этих так называемых «друзей» поэта, Фурманов грустно заметил:

— Да, здесь какой-то недосмотр и с нашей стороны. Жаль Сергея, русский талант, не находя выхода, как правило, уходит в кабак. А ведь он пытается вырваться из этого чуждого и омерзительного окружения бездарных пропойц. И наш долг — поддержать его. У нас Есенина окружают какие-то неизвестные личности, за границей он схлестнулся с этим диким черкесом Кусиковым. Неладно всё это…

Кусиков — сын армавирского владельца мануфактурного магазина, всю жизнь прожил в городе и был исключён из гимназии за неуспеваемость. Легенду о своей дикости он создал сам, адресуясь в своих произведениях к памяти далёких предков, обитателей предгорий Северного Кавказа.

Рассказываю об этом Дмитрию Андреевичу.

— Вот видишь, как все в жизни сложно, — замечает он, — даже и меня, опытного и бывалого человека» ввели в заблуждение. Раз, мол, черкес, значит уж и дикий. Отсюда вывод: изучай жизнь и людей во всех направлениях, вглубь и вширь — внакладе не останешься. А Есенина от всей души жаль…

В Москве проходит конференция, посвящённая вопросам литературы. Простуженный Фурманов не пропускает ни одного заседания. Мокрый и разгорячённый, выходит он на улицу. Резкий весенний ветер пронзительно дует вдоль голых, безлюдных бульваров.

После жарких споров Дмитрий Андреевич и на улице не успокаивался, глаза его продолжали в темноте сверкать от

возбуждения.

Стараюсь отвлечь его, перевести разговор на какую-либо другую тему: о погоде, о фамилиях.

— Наша фамилия на родине произносилась с ударением на букву «а» — Фурмановы, — поясняет он, постепенно успокаиваясь. — А потом как-то незаметно ударение перешло на «у». Теперь я стал Фурманов. Мне кажется, это менее благозвучно.

И забыв уже о своих заседательских спорах, Дмитрий Андреевич с увлечением переходит к любимой теме — о писательском труде, о связи художника с жизнью. Об этом он готов говорить в любое время.

— К жизни надо приглядываться, в ней много чудес. И она не нуждается ни в каких формальных ухищрениях. Как говорил один из русских художников: чтобы верно изобразить натуру, бери на кисть краски столько, сколько нужно, и клади её на холст туда, куда это нужно. Только и всего. Из подмеченного отбирай самое приметное, что ярче всего может характеризовать твою мысль. Умелым подбором таких фактов, образов, слов, ассоциаций ты разожжёшь воображение читателя, разбудишь в его душе поэтические картины. Но самое важное — это правдиво показывай внутренний мир героя. На первом месте всегда должен быть человек, с его мечтаниями, радостями, надеждами и преодолениями невзгод…

Неуютна и ветрена была та ранняя весна, с сухими пыльными позёмками, гнилыми сквозняками и леденящим, осиротелым свистом трамвайных проводов. Даже в неярком полусвете качающихся фонарей был заметен на щеках Дмитрия Андреевича воспаленный, рдяный румянец, он как-то красил его, молодил. Фурманов шёл по бульвару, стройный, подтянутый, в своей неизменной командирской шинели, в серой папахе, полный возбуждения, похожий на свои портреты, где он снят вместе с Чапаевым…

Алексей Силыч

Ранней весной 1927 года мы с Алексеем Силычем Новиковым-Прибоем выехали на охоту по старой Можайской дороге в сторону древнего русского городка Старая Руза.

Охота была неудачной. Целый день с неба точился мелкий, промозглый дождишко. Усталые, озябшие и промокшие до костей, мы ко всему ещё и заблудились. В серых дождливых сумерках неожиданно набрели на кладбище французских солдат, похороненных здесь ещё во времена отступления наполеоновской армии. Перебравшись через глинистый овраг, мы попали в непролазное болото и, проплутав до темноты в мокром и неприветливом лесу, увидели наконец сквозь заросли кустов одинокий огонек. Деревянный многооконный дом с надстроенной четырехугольной башенкой стоял на невысоком холме среди сосен. По склону к речке спускалась аллея многолетних лип, а у самой веранды кругло темнела заросшая бурьяном и размытая дождями рыхлая клумба. По всем приметам — по заброшенному саду, ветхим службам и сараям, поставленным в стороне, небольшому искусственному озерку, затянутому зелёной тиной, — нетрудно было определить, что здесь некогда располагалась барская усадьба. В доме светилось лишь одно окошко. В это окошко мы и постучались.

Нас встретили две гостеприимные старушки, единственные обитательницы пустого дома со скрипучими половицами и зимней застеклённой верандой, до потолка заваленной старыми редкими книгами в кожаных переплетах, журналами, газетами и рукописями. Хозяйки радушно предоставили в наше распоряжение отдельную комнату с кроватью, диваном и старинным письменным столом. Алексей Силыч, человек бывалый и расторопный, несмотря на усталость и немолодой возраст, быстро, по-морскому, растопил печку, и мы, развесив сушить свои куртки и сапоги, уселись у огня покурить.

Через полчаса нас пригласили к ужину. Мы узнали, что одна из хозяек этого забытого небогатого поместья — вдова известного прогрессивного редактора Лаврова, издававшего в старое время толстый литературно-общественный журнал, близко знавшего Чехова и Бунина.

Вторая старушка была её сестрой.

— Как же вы тут живёте, в лесу, среди болот, одни? — изумленно ахал Алексей Силыч.

— Так вот и живём, — со вздохом разводила хозяйка своими натруженными руками. — Да, откровенно говоря, я бы давно

отказалась и от дома и от сада, если бы кто выхлопотал нам пенсию. Живем тут, как в берлоге, никакого общения с людьми…

В тот вечер и возникла у нас мысль о приобретении этого дома для писателей. «Тут, вдалеке от городами работать будет хорошо, и охота рядом. Попробуем!»

Действительно, при содействии Литературного фонда старушкам вскоре была выхлопотана пожизненная пенсия. Деревянный особняк отремонтировали, подкрасили и в бывшем поместье открыли дом отдыха. Однако мало кто из писателей хотел ехать в эту болотную глушь, с комарами и керосиновым освещением. Комнаты пустовали, и правление Литфонда решило от дома отказаться.

Вот тогда-то небольшое содружество писателей-энтузиастов и образовало творческую коммуну, взяв дом на собственное содержание. В коммуну вошло тринадцать писателей. Вся обслуга дома состояла из кучера и поварихи. Остальную работу выполняли мы сами. Жизнь в доме пошла на лад. Так родился первый писательский Дом творчества «Малеевка».

История возникновения «Малеевки» и создания творческой коммуны писателей представляет несомненный интерес. Лишь за первый год её существования там было завершено свыше семидесяти произведений и среди них такие, как «Цусима» Новикова-Прибоя, «Люди из захолустья» Малышкина, «Океан» Низового, «Лес» Демидова, «Внук Тальони» Ширяева, «Подпасок» Замойского, «Солнечный клад» Перегудова и многие другие.

Помимо постоянных обитателей Малеевского дома творчества, там живали А. Н. Толстой, А. С. Серафимович, С. Н. Сергеев-Ценский, В. В. Вересаев.

Река от нашего дома в полуверсте. Июльская жара. Новиков-Прибой, без рубашки, с удочкой в руках, шагает впереди. Нельзя не залюбоваться его широкими, могучими плечами. Возле мостика нам встречается простая деревенская женщина с ясными голубыми глазами и добрым выражением лица. Алексей Силыч вдруг останавливается и провожает её долгим, взволнованным взглядом.

— Просто невероятно, — говорит он, — как она похожа на мою мать!

И, шагая по берегу, он уже весь отдаётся разбуженным воспоминаниям о своей матери и далёкой юности, когда простым пареньком рос в селе Матвеевском.

— Из дремучих лесов и непроходимых болот северной Тамбовщины, где водились медведи, меня призвали на флот. Суровая жизнь сразу взяла меня в работу. Я был жадным до

знаний. Курсы баталеров, куда я был направлен, сложная техника кораблей, воскресная школа, нелегальная литература, которой нас снабжали студенты, — всё это обогащало знаниями.

Алексей Силыч останавливается и закуривает.

— Спустя два года я получил отпуск и поехал на побывку к себе на родину. Мой приезд был в семье настоящим праздником. Матросскую форму в наших краях видели впервые. Издалека приходили люди полюбоваться на меня. Широкие брюки клёш, фланелевая рубаха с синим воротником форменки, бескозырка с атласной лентой, а по ней золотыми буквами название корабля, на плечах серебряные контрики, бог ты мой, куда там! Все девки на селе глаз с меня не сводили…

А мать от радости и счастья будто моложе стала. Достала из сундука своё заветное платье, в котором только по большим праздникам в церковь ходила. Угощала меня вареньями и соленьями, наливками домашними. Но удивила она меня тем, что стала обращаться ко мне на «вы». Дело в том, что она родилась и выросла в Польше и поэтому считала себя как бы более образованной и понимающей настоящее обращение.

Я возражал, чувствуя себя очень неловко, но она гордилась мной.

Вероятно, она считала, что я занимаю пост никак не меньше адмирала.

— Ах, Алёша, ничего не говорите! Вы ничего не понимаете. А вы теперь вон какой важный и интересный стали! Ни в одной семье такого жениха нет…

Глаза у моей матери светло-голубые, точь-в-точь, как у этой встреченной нами женщины…

Несмотря на свою широкую известность, Новиков-Прибой ничуть не изменился ни в своём отношении к друзьям, ни в характере, ни даже в своём внешнем облике. И на улице в нём трудно признать человека тонкой писательской профессии.

— Писатель не должен привлекать внимание людей, — говаривал он.

У Алексея Силыча в связи с этим случалось немало любопытных недоразумений.

В пригородном поезде мы направляемся на охоту. Новиков-Прибой в серой ватной стёганке, в шапке и простых сапогах. Он сидит рядом с бородатым стариком и держит в руках зачехлённое ружье. Старик, по-видимому будочник или путевой обходчик, нахмурив брови, сосредоточенно читает какую-то книгу.

Алексей Силыч наклоняется, будто поправить сапог, и незаметно взглядывает на обложку книги. Он молча толкает меня

локтем, я гляжу на обложку и читаю: «А. С. Новиков-Прибой. Солёная купель».

Да, приятно увидеть живого читателя, увлечённого твоим произведением! Но старику, вероятно, ни за что не пришло бы в голову подумать, что бок о бок с ним сидит сам автор этой захватившей его внимание книги. Он так углубился в чтение, что совсем не замечает наших весёлых переглядываний.

— Как можно так долго читать, не понимаю, — будто невзначай роняет Алексей Силыч, сворачивая самокрутку.

Старик отрывается от чтения.

— А ты читал эту книгу?

— А что, неужто такая интересная? — задаёт лукавый вопрос Алексей Силыч.

— А ты почитай.

— Чьё же сочинение будет?

Старик показывает обложку и с уважением произносит:

— А. С. Новикова-Прибоя.

— Не слыхал про такого, — безучастно заявляет Алексей Силыч, облизывая языком цигарку. — Не привёл господь.

Железнодорожник молча поворачивается к нам спиной и снова углубляется в книгу, не считая нужным, видимо, продолжать этот никчёмный разговор.

Алексей Силыч очень горевал об утерянных материалах, записках и дневниках участников Цусимы, с таким трудом собранных им во время пребывания в японском плену.

— Я вернулся к себе на родину, в село Матвеевское весной 1906 года. За мною велась слежка, и осенью мне пришлось бежать в Петербург и перейти на нелегальное положение. Потом я уехал в Финляндию. Из Гельсингфорса кочегары одного торгового судна перебросили меня в Лондон. А собранные мною заметки, письма и дневники, связанные в один большой свёрток, остались у родственников, в Матвеевском. Но куда они их запрятали, никто не помнил. Прошло ведь более двадцати лет.

Весной 1928 года Новиков-Прибой и несколько писателей уехали на охоту в родные края Алексея Силыча. Вернулись они оттуда окрепшие и посвежевшие. Но больше всех был доволен Алексей Силыч. А радоваться, действительно, было чему!

— Возвращаясь после двухнедельного пребывания среди болот и лесов, мы заехали в Матвеевское, к племяннику Ивану Сильвестровичу в гости, — рассказывал оживленно Алексей Силыч. — Заехали. Сели попить чайку с мёдом. И вот вносит мой племянник какую-то связку бумаг, мочалкой перевязанную, и кладет передо мной на стол. Я сразу узнал эти бумаги. «Да

откуда, — кричу, — ты раздобыл это?»

А Иван Сильвестрович улыбается:

«В улье нашел. Помнишь, у сарая колодные ульи были сложены. Сарай одряхлел и стал разваливаться. Стал я ульи перебирать, гляжу, в одном какие-то бумаги. «Сохраню, — думаю, — это небось Алексея Силыча. Они ещё ему пригодятся». Взял и припрятал. А потом и вспомнил, что отец-то все горевал, что твои бумаги куда-то запрятал и не мог найти…»

Двадцать два года пролежали в улье! — восхищённо поднял палец Новиков-Прибой. — И как раз подоспели…

— Что же это за бумаги?

— Все мои записки о Цусиме! И когда я развязал мочалку и разложил перед собой всё мое упавшее с неба богатство: дневники, письма, блокноты, тетради, когда вчитался в эти строки, наспех написанные вылинявшими чернилами, я почувствовал, что богаче меня сейчас на всем свете ни одного человека нет!.. Эти скупые записи подняли со дна души все полузабытые картины страшной цусимской трагедии. И я понял, что именно я должен рассказать миру правду о бездарности царского командования и героизме русских моряков.

Так Новиков-Прибой начал работать над своей «Цусимой».

Где бы ни бывал Новиков-Прибой, куда бы ни ездил, с ним в кармане всегда неразлучно записная книжка. Книжки в разных переплетах — синие, серые, голубые, коричневые, купленные в пути, на улице. На их страницах — охотничьи наблюдения, пейзажи, отдельные услышанные фразы, кратко записанные сюжеты будущих рассказов, народные приметы, удачные сравнения.

Алексей Силыч охотно посвящает в них своих друзей.

Вот некоторые из записей.

Молодой морячок дефилирует по морскому бульвару мимо скучающей девушки. Остановился возле, решив поразить её своим остроумием.

— Позвольте бросить якорь у вашего сердца!

Но девушка, видно, хорошо разбиралась в морской терминологии.

— Слишком каменистый грунт, боюсь, не зацепитесь!

Матрос вернулся на корабль с синяками.

— Где это, браток, тебя такими сигнальными огнями украсили?

Он был стар, и казалось, что душа его обросла ракушками.

На корабле молодой матрос ищет ревизора.
— А ты на клотике был? — спрашивает его квартирмейстер.
— Никак нет.
— Ну пойди и посмотри. Он, наверное, там сидит…

Одна знакомая, прежде чем начать читать какой-нибудь роман, всегда заглядывала в конец книги. Если роман оканчивался свадьбой, то она читала его.

— Мы с ним родственники: в прошлом году на одном солнышке онучки сушили.

Оглох дождь. Бог его посылает туда, где просят, а он хлещет, где косят; его посылают туда, где сеют, а он льётся, где сено.

Один волк от стрихнина умер, а другой сидит рядом и псалтырь читает.

Лиса только не говорит, а то все понимает.

Он шел, точно плыл под бом-брамстеньгами и лиселями.

Он засмеялся, загрохотав, точно якорный канат в клюзе.

Примета в Архангельске. Если чайки сидят на воде, значит в море разыгрывается шторм.

Справка. При циклоне в северном полушарии частицы воздуха вращаются против движения часовой стрелки. И наоборот, в южном частицы воздуха не вращаются по кругам, но имеют спиральное движение.

Любовь освежает сердце.

Собачья вахта — с полуночи до 4 часов утра.

Твою честность и в бинокль не увидишь.

Прозвище одного штурмана — Карболовая Кислота.

Ром «Мухобой». В Англии есть такой ром — один пьёт его, а семеро пьяны бывают.

Подстрижен «под карусель».

— Я тебе только два зуба оставил. Чтоб сахар грызть…

— Я за работой машины слежу — слухом, глазами, носом, руками. Четырьмя чувствами. Я по запаху чувствую, когда загорается подшипник.

На Новой Земле. Названия ветров у поморцев: «сток» — юго-восточный, «полуночник» — северный, «обеден инк» — южный.

Запись в десять строк в одном из таких блокнотов впоследствии выросла в повесть «Женщина в море».

Каждое утро, входя в столовую, Алексей Силыч громко приветствует всех и весело потирает руки:

— Итак, эскадра отправляется в поход…

Он встаёт ещё затемно и до завтрака успевает написать полстраницы. Работает Новиков-Прибой медленно, трудно, и если за день ему удаётся написать полторы-две страницы, он бесконечно доволен и счастлив. «Когда я сажусь за работу, — говорит он, — то всегда представляю, что это моя последняя книга. Поэтому и надо написать её как можно лучше. Тут уж изо всех сил стараешься». Вся наша коммуна в курсе похода 2-й Тихоокеанской эскадры, с которой Новиков-Прибой направлялся на Дальний Восток. Задают вопросы, интересуются отдельными моментами плавания, и Алексей Силыч с большой охотой начинает делиться своими воспоминаниями, а рассказчик он удивительный.

Как-то к нам в дом приблудилась чья-то собака, и Алексей Силыч в связи с этим вспомнил одну историю.

— Однажды, когда наш катер отваливал от пристани, с берега на корму прыгнул чей-то пес. Масть у этой дворняги была бурая, уши стрелой, хвост бубликом. Пёс радостно вилял хвостом и умильно заглядывал всем в глаза. «Вероятно, отстал от какого-нибудь корабля», — решили матросы и взяли его на наш броненосец. Но как назвать пса?.. Так как знакомство это состоялось во вторник, его назвали Вторником. Собака стала членом экипажа.

Море Вторник любил преданным чувством. Сядет, бывало, на юте и часами глядит на него, будто художник или поэт-лирик. Иногда он отправлялся с нами на берег прогуляться, но как только раздавалась команда об отправлении обратного катера, он со всех ног мчался на пристань, чтобы успеть на корабль.

Перед походом нашу эскадру посетил Николай II. Вторника загнали в машинное отделение. И вот когда царь должен был

оставить корабль, вахтенный начальник громко скомандовал:

«Катер к правому трапу!»

Пес, услыхав знакомую команду, вырвался на верхнюю палубу и с радостным лаем бросился к трапу, обгоняя коронованного гостя и всю его свиту. Боже, надо было видеть лица наших адмиралов, чтобы понять весь ужас положения! Ведь пёс в своём собачьем порыве мог столкнуть его императорское величество с трапа прямо в воду!

Великий князь укоризненно поглядел на командующего эскадрой, Рожественский — с медвежьей свирепостью на своих подчиненных, а командир нашего корабля даже полуприсел от немого ужаса.

Царь уже был на нижней ступеньке трапа, как к его ногам кубарем скатился Вторник. Николай, обеспамятев от испуга, ухватился за поручни, но, опомнившись, ласково улыбнулся и соизволил сказать:

«Какая милая собачка!»

Вся царская свита моментально заулыбалась, зашумела:

«Какой умница!»

«Какой редкий красавец!»

А командующий эскадрой Рожественский заметил басом:

«Собака-патриот!»

Видно было, что в этот момент многие из офицеров завидовали счастью нашей бурой дворняги.

Зачерпывая деревянной ложкой гречневую кашу, Новиков-Прибой неожиданно останавливается и, озарённый какой-то мыслью, радостно восклицает:

— Но это же находка! Эту сцену можно отлично вставить в роман… Вот что значит, когда работаешь над книгой: как ласточка, каждую соломинку, каждое событие тянешь на постройку своего гнезда. Не приблудись к нам этот пес, может, я и не вспомнил бы про нашего Вторника.

И Алексей Силыч на радостях предлагает зачислить бездомного пса на довольствие и окрестить его Находкой. Находка стал сторожем Малеевки.

Мы на лесной опушке. Прозрачный весенний вечер полон таинственных шорохов, где-то в овраге переливчато позванивает робкий ручеёк. Стоишь, вслушиваешься в эту чуткую, задумчивую тишину и невольно ловишь себя на желании найти какие-то особые слова, с чем-то сравнить этот вечер.

Синий воздух, ветер, шум хвои, первые несмелые звезды — всё так просто и так правдиво, что не нуждается ни в каких сравнениях и метафорах. И тут особенно чётко понимаешь,

почему Новиков-Прибой всегда пишет без вычурностей и ненужных изысков: у художника, друга природы, простота — первое и несомненное достоинство. И трудно сразу вспомнить кого-либо из наших писателей, кто бы уделял общению с природой столько времени, как Новиков-Прибой. Поля, простор, лес, река, костёр, ружьё, море, ветер, труд, настойчивость, дружба — вот понятия, с которыми ему чаще всего приходится встречаться в действительности.

Алексей Силыч стоит под берёзой и рассказывает новую, ещё не написанную главу из своего будущего романа.

Он рассказывает её уже не в первый раз, но мы знаем, что ему необходимо высказаться вслух, чтобы уяснить для себя все подробности и обстоятельства событий, и с каждым последующим вариантом глава становится богаче, красочнее, обрастает новыми художественными деталями. Так мне довелось прослушать почти всю «Цусиму» задолго до её появления на свет.

Не все писатели работают таким образом, даже, наоборот, большинство предпочитает не делиться ни с кем своими планами и, тем более, творческим процессом. Редко, под большой тайной удается иногда заглянуть в эту святая святых того или иного товарища. И такая откровенность — верный признак самого большого доверия.

Новиков-Прибой задумал «Цусиму», как записки очевидца, от первого лица. Но вскоре его стали одолевать сомнения.

— Во время похода и Цусимского сражения я находился на «Орле». Следовательно, я имею право описывать лишь то, что происходило на борту моего корабля. А как же быть с остальными героями с других кораблей? — задавал он вопрос и не находил ответа.

Однако первую книгу Алексей Силыч продолжал писать от имени автора: это давало ему возможность выражать свои суждения по поводу того или иного события, характеризовать людей и их поступки, а также делать лирические отступления. Но для того чтобы описывать события на других кораблях, Новикову-Прибою приходилось прибегать к письмам и документам, к рассказам третьих лиц, а это, по его мнению, снижало художественную ценность книги: вместо показа события автору приходилось довольствоваться чужим рассказом, а вернее, даже и пересказом.

— Не зря Горький предупреждал нас, когда мы были у него на Капри, что писать от имени автора гораздо труднее, — говорил Алексей Силыч, с сожалением поглядывая на свою рукопись. — Да уж очень это заманчиво! И сперва я не понимал: почему же это труднее? Если человек видел событие своими глазами, то он,

наверно, и ярче изобразит его на бумаге. Он точнее сумеет передать свои переживания, чувства, наблюдения.

Да… так думал я до самого последнего времени. А теперь вижу, рассказ, пожалуй, даже и повесть ещё можно одолеть подобным приемом. А вот роман, где события происходят одновременно в разных местах, где много героев, со своими характерами, поступками, мыслями, написать от автора очень трудно.

1931 год. Писательская бригада ЛОКАФа (литературное объединение Красной Армии и Флота) командирована на осенние манёвры Балтийского флота. Алексей Силыч ставит чемодан на полку и сразу закуривает. Леонид Максимович Леонов пытается открыть окно: в вагоне душно.

Кроме нас, в купе едет паровозный мастер Дондуков. На его обязанности лежит проверка выходящих из ремонта паровозов. Вот почему среди разговора Дондуков прислушивается и неожиданно вставляет непонятные замечания:

— Сорок пять…

— Что такое «сорок пять»?

— Поднимаемся в гору. Поезд делает сорок пять километров в час. Профессиональная привычка, — виновато поясняет мастер.

Ухо у Дондукова, как у скрипача: он разбирается в малейших изменениях хода паровоза.

— Шестьдесят. Под гору пошли…

Алексей Силыч незаметно толкает меня локтём в бок.

— Вот так и мы должны знать свой материал! Чем интересуется обыкновенный пассажир? Поезд выехал из Москвы в полночь, в Ленинград прибыл утром. Вагон у него для курящих или для некурящих? Верхняя ему досталась полка или нижняя?.. А до остального ему и дела нет… Это «пассажирское» восприятие действительности. А этот, видишь, как подходит к своей поездке? Совсем по-другому. Вслушайся-ка! Задача художника и заключается в том, чтобы как можно глубже проникнуть в психологию своего героя, познать его, взглянуть на все события его глазами…

И Алексей Силыч, по своему обыкновению, первым затевает разговор с соседом: интересуется ли он книгами, читает ли художественную литературу?

Мастер встряхивает головой:

— Как же!

— Любопытно бы узнать, а какие книги больше по сердцу?

— Из художественных предпочитаю энциклопедию, — охотно отвечает Дондуков. — В ней про всё есть. А главное, коротко и всё

ясно…

Поглаживая усы, Алексей Силыч многозначительно взглядывает на Леонова.

— Вот оно как…

В «Красной звезде» напечатана статья о том, что писатели не выполняют своих обязательств перед красноармейским читателем.

Новиков-Прибой надевает очки и читает статью.

— Что ж, и правильно, — замечает он, складывая газету. — Наобещали братья-писатели, а слова своего не выполняют.

И снова разгорается жаркий спор: почему у нас мало произведений на оборонную тему, почему писатели не пишут о жизни Красной Армии?

Леонов отрывисто покашливает в кулак.

— Было бы недостойно предполагать, что советские писатели не желают дать красноармейскому читателю хорошей художественной книги на военную тему. Но давайте говорить начистоту, с той прямотой, которая здесь необходима. — Леонид Максимович постепенно втягивается в спор, подыскивая всё новые и новые доказательства для защиты своих положений. — У нас создалась привычка брать обещание, не справляясь, сможет ли данный художник его выполнить. Однако давно признано, что художник состоит не из одного таланта или благих намерений. Сюда входит целый комплекс явлений и качеств, из которых вовсе не на последнем месте стоят знания. А военное дело сегодня, как известно, — это обширная научная область с массой сложнейших ответвлений. Браться за военную тему без знания этой науки в возможно более полном объёме — значит заранее обречь себя на писание банальностей. Не всякий пойдёт на это: совесть не позволит. Как и везде, здесь следует сперва посеять и только потом ждать урожая. Но прежде всего нам недостаёт для этой работы талантливых организаторов, а потому отделываемся пока одной кампанейщиной…

— Красноармейский счёт, предъявленный писателям, вполне справедлив, — замечает Новиков-Прибой. — Прежде всего, надо прекратить писательские «налёты» на Красную Армию и Флот. Глубокая, напряжённая работа над армейскими и флотскими темами — вот первый аванс, который мы должны внести в покрытие нашего долга Красной Армии, а это означает, что уж если взялся писать об армии, то познай её жизнь до мельчайших деталей и тонкостей. Будь всюду, где бывает боец, командир, завоюй право стать своим человеком в их семье!

Я, например, для своей книги «Подводники» собирал материалы, находясь долгое время на подводной лодке. Я жил

вместе с краснофлотцами одной жизнью, ходил с ними в походы, вместе проводил время на отдыхе, бывал на вечерах и танцульках. И хотя я сам моряк и хорошо знаю морскую жизнь, но каждый год обязательно бываю на флоте. Закончу «Цусиму», тут же возьмусь за роман о современном флоте. Свою задолженность постараюсь оплатить.

…Ленинград в густом тумане. Машина промчала нас к пристани буквально за пять минут. На Неве, пришвартованный к берегу, ожидает чистенький, сверкающий эсминец. Под флагом наркома корабль выходит в открытое море, к месту стоянки эскадры. На эсминце следуют товарищи Ворошилов и Будённый.

Эскадра встречает наркома салютом. Играют оркестры. Становимся на якорь. К спущенному трапу лихо швартуется паровой катер, он перебрасывает нас на линкор «Октябрьская революция».

Алексей Силыч уже и тут нашёл какого-то старого моряка, участника Цусимского сражения, а сейчас заносит в записную книжку рассказ своего собеседника. Моряк рассказывает о торжественном спуске на воду броненосца «Александра III»:

— Возле эллинга был построен павильон для царя, его семьи и свиты. Там же находились высшее командование флота и представители иностранных посольств. По другую сторону расположились моряки и приглашённые гости. Раздалась команда: «Приступить к спуску!» И вот, когда корабль уже освободился от блоков и тронулся, сильным ветром на крыше эллинга сломало огромный флагшток с царским штандартом, и он рухнул вниз, прямо в публику. Было ранено несколько молодых механиков, двое убито. А жандармскому полковнику Пирамидону раскроило череп…

Алексей Силыч переспрашивает фамилию полковника: он всегда старается записать всё точно.

— Правда — лучший выдумщик. А жизнь, мой друг, богаче любого вымысла, — говорит он. — Всегда учись у неё.

Линкор «Октябрьская революция» — это целый город, с населением в полторы тысячи человек. Своя электрическая станция, типография, клуб, пекарня.

Вечером обходим корабль. Около карт, развешенных на стенах, толпятся моряки — изучают путь прохождения эскадры и взаимодействие кораблей. Каждый должен знать свой манёвр!

Спускаемся в машинное отделение — здесь чисто, как в аптеке. Ещё пониже… Новиков-Прибой с изумлением разглядывает помещение кочегарки.

— Это же чёрт знает что такое!.. В наше время в кочегарке

температура доходила до шестидесяти пяти градусов жары. Кочегаров, бывало, после вахты замертво выносили.

Чёрные, выпачканные углем лица молодых кочегаров сверкают снежными улыбками.

— Теперь у нас хоть тулуп надевай!

Огромные вентиляторы особой системы непрерывно втягивают сюда свежий морской воздух. Кочегары рассказывают, что нередко к ним в кочегарку попадают неосторожные птицы, втянутые мощной вихревой силой этих гигантских вентиляторов.

— Одна была с красными перьями. Не знаю даже, какой и породы, — говорит невысокий, одного роста с Новиковым-Прибоем, приземистый кочегар.

Возвращаясь по узкому коридорчику из кочегарки, я обратил внимание на стриженого круглоголового морячка: глаза его уже слипались от усталости, но он мужественно одолевал какой-то учебник.

— Корабль — прекрасная закрытая школа специальностей, — замечает Алексей Силыч. — Сюда приходят простые, ничего не видавшие люди, а выходят машинисты, радисты, сигнальщики, марсовые, электрики и даже культработники.

С жадным любопытством приглядывается Новиков-Прибой к представителям нового поколения моряков, охотно вступает с ними в разговоры, расспрашивает обо всём, что интересует молодежь, непрерывно записывает в книжку различные случаи и эпизоды.

Мы стоим на переднем мостике. Алексей Силыч беседует с вахтенным.

— В прошлом году во время заграничного похода, — рассказывает тот, — наша «Парижская коммуна» попала в Бискайском заливе в большой шторм.

— Бискайский залив — страшное место, всегда славился среди моряков штормами, — замечает Новиков-Прибой.

— Корабль бросало из стороны в сторону, словно игрушку. Нос «Парижской коммуны» то и дело зарывался в волну. Ветер оборвал антенну. Тогда несколько комсомольцев вызвались закрепить её на место. Ребята полезли на мачты. Вы представьте: в течение нескольких секунд огромный корабль переваливается с одной стороны на другую, а крен — за тридцать градусов. И это не считая ещё килевой, продольной качки. Их оттуда, с мачт, могло выбросить, как из пращи. Хлопцы сделали свое дело, несмотря на исключительно проклятую погоду. Героизм? Романтика? Называйте, как хотите. У нас это будни.

В простуженном голосе вахтенного звучит гордость, скромная моряцкая гордость.

— В прошлом же году в страшный шторм, в непроглядную темень на корабле затопило бак. В любой момент мог произойти взрыв. И вот двое добровольцев по собственной инициативе ныряли вниз, в горячую воду, чтобы перекрыть клапаны. Каждую минуту их могло смести волной за борт…

— Ну и как же? — с волнением спрашивает Алексей Силыч.

— Клапаны были перекрыты. Всё окончилось благополучно. Разве с такими людьми пропадешь?..

Рассказчик на минуту подходит к фонарю, и я вижу надвинутый на глаза козырёк, суровое лицо и тяжёлый, волевой подбородок. Где-то внизу кипит и бушует вода. Мы спускаемся на палубу. Освещённый люк горит в ревущей мгле, как солнце.

— Неузнаваемо вырос наш флот, — с уважением говорит Алексей Силыч. — Современные корабли так механизированы и оснащены такими сложнейшими приборами, что и во сне не приснится. Но самое важное — это организация всей службы. Без всякого унижения, мордобития — и такая высокая дисциплина, и отличное знание техники! Вот что значит пробудить сознательность масс… Взаимное уважение между рядовым и командным составом…

В моё время основное внимание обращалось на внешний лоск. Показать, как всё это изменилось, отныне моя главная обязанность, мой долг…

Уже тогда, на манёврах Балтийского флота, Новиков-Прибой начал задумываться над созданием новой книги, главным героем которой он решил сделать простого деревенского паренька Захара Псалтырева, талантливого и сметливого, выросшего из матроса в капитана 1-го ранга.

— Я так и назову роман: «Капитан 1-го ранга».

А уж если Алексей Силыч затевал какую работу, то к выполнению её он подходил со всей добросовестностью, задолго начиная собирать материалы, приглядывался к людям, как можно чаще старался бывать на кораблях, поближе к своим героям. Работал он не торопясь, разумно, со всех сторон изучая взятую тему.

На боевой башне маячат два лихих моряка, головы их обвиты чёрными ленточками флотских бескозырок. Жестокий ветер вот-вот готов сорвать моряков в гудящую пропасть очумевшего моря.

Разворачивается последний этап маневров: «неприятельские» корабли производят комбинированную атаку нашего линкора эскадренными миноносцами, самолётами и торпедными катерами. Эсминцы выпускают по нашему кораблю торпеды.

Линкор отражает атаки залповым артиллерийским огнем. На

мостике — Ворошилов и Будённый, оба в непривычной для глаза морской форме. Климент Ефремович напряженно всматривается в горизонт, откуда ожидается атака подводных лодок.

— Ворошилов не подвержен качке, — с уважением замечает старший помощник. — В прошлом году шторм до десяти баллов доходил. Сколько народу укачало, боже мой! А ему и такой шторм был нипочём…

И вот звучит сигнал отбоя.

— Вас приглашают в каюту наркома.

Спускаемся вниз. В каюте всё командование.

За обеденным столом Климент Ефремович интересуется, какие впечатления получили писатели во время пребывания на кораблях.

— Всё, что мы увидели в эти дни, — говорит от нашего имени Алексей Силыч, — произвело на нас огромнейшее впечатление. И техника на высоте, и люди удивительные!

И Новиков-Прибой для сравнения даёт несколько острых характеристик адмиралам и командирам царского флота.

Все слушают его с огромным любопытством.

— Возглавлял эскадру, — говорит Новиков-Прибой, — бездарный самодур с жестоким, деспотическим характером, адмирал Рожественский. — И Алексей Силыч со знанием дела приводит примеры бесталанности командующего царской эскадры.

— Рожественский развивал у своих подчинённых раболепие, чинопочитание, погоню за орденами. Был такой адмирал Бирилёв, представитель старинной дворянской фамилии. Свои «боевые» способности он проявлял только в «крестовых походах» за орденами и крестами. Всю свою силу и энергию он отдавал тому, чтобы нахватать как можно больше иностранных орденов.

Медали, ордена, звёзды, большие и малые, не умещались на его груди, они разбегались по бокам и даже спускались к бёдрам. Адмирал сиял весь, как святочная ёлка, украшенная игрушками. Молодые офицеры острили: «Бирилёв не столько блестит умом, сколько своими звёздами».

Но матросы видели и понимали бездарность командования. Отсюда и рождалось их неуважение к своим командирам.

Ворошилов с глубокой заинтересованностью расспрашивает Новикова-Прибоя о «количестве вымпелов», принимавших участие в походе эскадры, об оснащении кораблей, о взаимоотношениях офицеров и матросов. Алексей Силыч, не задумываясь, даёт точные, исчерпывающие ответы.

Климент Ефремович с лукавым выражением поглядывает на сидящих вокруг стола представителей командования флота,

будто хочет сказать: вот, мол, какие у нас писатели!

И когда в ответ на его вопрос о том, действительно ли японские адмиралы были настолько выше русских, что так легко могли расправиться с Тихоокеанской эскадрой, один из командиров начал восхвалять достоинства японцев, Новиков-Прибой смело вступил с ним в спор.

Даже сам их обожествлённый адмирал Того и тот был далеко не безгрешен. При встрече с русскими у Цусимы он перед самым боем начал сдваивать свои корабли, делать петлю на виду у всего нашего флота. Опытный флотоводец так никогда не поступил бы! Ведь только благодаря полной растерянности и природной бездарности Рожественского был упущен удобнейший момент для атаки и разгрома японской эскадры.

Разговор за столом всё более и более оживляется. Ворошилов расспрашивает о жизни писателей, интересуется их новыми книгами. Круг вопросов, который привлекает Климента Ефремовича, необычайно широк. Будённый говорит, что скоро на литературном фронте появится новый талантливый писатель — бывший боец Первой Конной, к книге которого он только что написал предисловие:

— Всеволод Вишневский. Хорошую пьесу сочинил. О Первой Конной…

Поездки на флот были очень важны для Новикова-Прибоя. Там он общался с героями своих будущих произведений, беседовал с ними. Отдав должное темам прошлого, писатель последние годы полностью посвятил отображению на страницах книг жизни советского Военно-Морского Флота.

— Мой новый роман расскажет историю роста и возмужания советского командира, — делился своими планами Алексей Силыч. — Я ярко вижу коренастую и сильную фигуру моего героя Захара Псалтырева. Этот человек, вышедший из гущи народа, благодаря природному уму, любознательности, труду и упорству достиг той цели, которая в дни его юности и самому ему казалась недостижимой. Революция помогла ему выявить свои врождённые таланты, она открыла ему широкую дорогу; идя по ней, вестовой Захар Псалтырев превратился в капитана 1-го ранга Захара Петровича Куликова. Я думал и о том, сколько на нашем флоте новых людей, занимающих высокие командные посты, людей, вышедших из рабочих семей, из далёких глухих сел и деревень…

Алексей Силыч успел написать лишь первую книгу задуманного романа. Война помешала ему полностью осуществить свой замысел.

Война.

В газетах и журналах печатаются очерки и рассказы Новикова-Прибоя о героях-воинах: моряках, пехотинцах, снайперах. По заголовкам этих небольших, оперативно написанных материалов молено определить их тематику: «Морские орлы», «Город-герой», «Снайперы», «Сила ненависти», «Русский матрос», «Волга», «Родина», «Мсти, товарищ!»

Алексей Силыч часто выступает перед воинами-фронтовиками.

Писатель жадно вглядывается в лица тех юношей, которых он встречал раньше на морских манёврах, — они стали суровее, мужественнее: будни войны закалили их души. Он расскажет об их подвигах во второй книге своей новой эпопеи. У каждого из них своя профессия, но, будь это боец морской пехоты Сивков, комендор Щербак, лётчик Сгибнев или снайпер Титов, — это люди подвига, чьи характеры ковались уже при Советской власти.

Писатель стремился запечатлеть великий подвиг советского народа. Но ту заветную книгу, о которой Новиков-Прибой мечтал столько лет, завершить ему не удалось. Нежданно-негаданно подошла беда — обнаружилась неизлечимая болезнь.

…Всего за несколько дней до этого мы направлялись с Алексеем Силычем в Клуб писателей. Там проводилась литературная декада, и он отослал свою машину на вокзал для встречи гостей из братской республики. Мы опаздывали. Пройдя до конца Кисловского переулка, где жил Новиков-Прибой, мы вышли на улицу Герцена и увидели идущий снизу троллейбус.

— Бежим! — крикнул Алексей Силыч.

И, чтобы не опоздать в клуб, мы бросились бежать к троллейбусной остановке. На расстоянии полуквартала, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет, Новиков-Прибой не только догнал, но и обогнал меня и первым вспрыгнул на ступеньку троллейбуса. Его разгорячённое лицо дышало юношеским задором, свежий румянец всегда загорелых, обветренных щёк и жизнерадостный блеск смеющихся глаз говорили о его неистребимой молодости.

Таким он и остался в памяти — молодым, влюблённым в жизнь и людей..

Рассказ об одной догадке

Осенью, в начале тридцатых годов, к нам в Малеевку приехал старейший русский писатель и пушкинист Викентий Викентьевич Вересаев.

Стояла ненастная, дождливая погода. Выйти из дому из-за невылазной грязи было невозможно. Дороги и даже деревянного мостика через речку тогда ещё не было, и вздувшаяся от проливных осенних дождей Вертушинка отрезала от всего мира наше обиталище.

Ни телефона, ни радио, ни газет, — лишь в соснах разбойный посвист осеннего ветра. Проснешься, бывало, ночью, вслушаешься в этот беспокойный, первобытный, настойчивый гул леса, то затихающий, то снова усиливающийся, и так на душе станет тоскливо и одиноко, будто забросили тебя куда-то на самый край света, да и забыли.

Но, несмотря на все лишения и неудобства, в доме шла глубокая, напряжённая работа над новыми произведениями. Вечерами собирались обычно в столовой и здесь, после ужина, часто очень скудного, при свете керосиновой лампы, читали друг другу только что написанное или вспоминали какие-либо интересные истории.

Викентий Викентьевич Вересаев, работавший в то время над книгой о Пушкине, рассказывал нам много любопытного о жизни поэта, о его друзьях и недругах, о вновь найденных документах. Ему задавали самые неожиданные вопросы, например: мог ли царь предупредить дуэль, верно ли, что лейб-медик Арендт по указанию Николая неправильно лечил раненого поэта, изменяла ли Пушкину его жена?

— О жизни Наталии Николаевны существуют самые противоречивые мнения, — говорил Вересаев своим глуховатым баском. — Её красота привлекала к себе внимание в самых высших кругах. Императрица выразила желание, чтобы она бывала при дворе. Император за ужином садился с ней рядом. Жизнь её проходила в непрестанных увеселениях, празднествах и балах. Пушкин обязан был повсюду сопровождать свою жену, и Друзья с горечью наблюдали, в каких ужасных для творчества условиях жил поэт.

Натальей Николаевной увлекся Дантес. Недруги Пушкина стали распространять различные слухи, порочащие имя поэта и его жены. Пушкин имел все основания заподозрить в одном из самых злостных клеветников голландского посланника барона Геккерена, развратника и негодяя, но, считая неудобным

вызывать на дуэль дипломатическое лицо, вызвал на поединок его приемного сына Жоржа Дантеса.

Старый барон испугался за жизнь и карьеру сына и лично поехал к Пушкину, чтобы упросить его отсрочить поединок на две недели… А вот зачем понадобились Геккерену эти две недели, — вопрос этот, пожалуй, остается самым неясным до наших дней. По-видимому, надо было сразу замять скандал. Чтобы предотвратить дуэль, Геккерены сочинили версию о том, что Дантес ухаживал не за женой Пушкина, а за её старшей сестрой, Екатериной Николаевной Гончаровой, которая жила у Пушкиных. Дантес в тот же день сделал ей предложение. Всему Петербургу была понятна эта трусливая и позорная уловка блестящего красавца и кавалергарда. Пушкин взял свой вызов обратно.

Но вот странно, прошло всего две недели, и тот же самый, напуганный до смерти старик вдруг становится неузнаваемым. Он начинает пускать в ход самые низкие средства, идёт на сводничество своего приемного сына с женой поэта, распускает о Пушкине сплетни, действуя нагло и открыто, всеми своими поступками давая понять, что дуэли он теперь не боится. И Пушкин вынужден снова послать вызов.

…Тут в нашем рассказе придётся сделать небольшое отступление, чтобы сообщить читателю об одном любопытном событии, происшедшем в тот осенний дождливый вечер в малеевской столовой. Дело в том, что у нас гостил тогда приезжий из города Архангельска. Это был человек молчаливый и нелюдимый. Во время ужина все садились обыкновенно за длинный стол, а наш архангельский гость устраивался за отдельным столиком ко всем спиной, лицом в угол. Он ни с кем не разговаривал, но Вересаева слушал всегда с редкостным вниманием. И вот этот молчаливый и угрюмый отшельник неожиданно задал Вересаеву странный вопрос: почему в период между первым и вторым вызовами на дуэль в Архангельске очутился посланный от Геккерена? Дело в том, что наш архангельский гость случайно наткнулся — не то в домовой книге, не то в книге для приезжающих — на имя некоего человека, приехавшего от Геккерена и поселившегося на улице, где жили оружейники.

Этот вопрос, неожиданно раздавшийся из темного, неосвещённого угла, привел Вересаева в неописуемое волнение. Встречаясь с Викентием Викентьевичем много лет кряду, я ни разу не видел его в таком возбуждении. Он начал допрашивать архангельского гостя с необъяснимым пристрастием. Ему хотелось знать все: откуда известно, что посланный был именно от Геккерена, почему запись связана с улицей, где проживали

оружейники, точно ли это было накануне дуэли?

Нам тогда, конечно, было совсем невдомёк, какое отношение имел этот по виду незначительный факт к дуэли Пушкина. На Оружейной улице, как рассказал гость, в прошлом жили знаменитые архангельские оружейники, большие умельцы и мастера различного вида вооружения — пистолетов, ружей, кольчуг и кольчужных сеток.

Трудно передать словами ту несвойственную возрасту и характеру Вересаева взволнованность, с какой он стал шагать по столовой, нервно теребя седую бородку и то снимая, то надевая на нос свое старинное пенсне.

Наконец, остановившись посреди столовой, Викентий Викентьевич поднял руку и взял с нас слово, что никогда и нигде, ни при каких обстоятельствах никто из нас до его разрешения не обмолвится о том, что слышал здесь сегодня, так как, возможно, мы являемся свидетелями раскрытия одной загадки, касающейся убийства Пушкина.

После этого он вынес из своей комнаты объёмистую папку с бумагами.

Мы с нетерпением следили за его тонкими, сухими руками, раскладывавшими на столе бумаги.

Лампа нещадно чадила.

Сощуренно всматриваясь в написанное, Вересаев продолжал отвечать на наши вопросы.

— Тут спрашивали о царе, о его роли во всей этой истории. Не все поступки Николая объяснимы. Царь наверняка знал о дуэли и опасности, грозившей Пушкину. И жандармы неспроста были посланы Бенкендорфом в другом направлении. Однако научными данными опровергается легенда о том, будто Николай дал указание своему лейб-медику Арендту лечить Пушкина неправильно. Как врач я занимался этим вопросом. Послушайте, как описывает картину дуэли в своём письме к князю Вяземскому секундант Дантеса виконт д'Аршиак! — И Викентий Викентьевич поднёс бумагу ближе к лампе.

«Было половина пятого, когда мы прибыли на назначенное место. Сильный ветер, дувший в это время, заставил нас искать убежище в небольшой еловой роще. Так как глубокий снег мог мешать противникам, то надобно было очистить место на двадцать шагов расстояния, по обоим концам которого они были поставлены. Барьер означили двумя шинелями; каждый из противников взял по пистолету. Полковник Данзас дал сигнал, подняв шляпу. Пушкин в ту же минуту был у барьера, барон Геккерен сделал к нему четыре или пять шагов. Оба противника начали целиться. Спустя несколько секунд раздался выстрел.

Пушкин был ранен. Сказав об этом, он упал на шинель, означавшую барьер, лицом к земле и остался недвижим. Секунданты подошли. Он приподнялся и сидя сказал: «Постойте!» Пистолет, который он держал в руке, был весь в снегу, он спросил другой. Я хотел воспротивиться тому, но барон Геккерен остановил меня знаком. Пушкин, опираясь левой рукой на землю, начал целить; рука его не дрожала. Раздался выстрел. Барон Геккерен, стоявший недвижно после своего выстрела, упал в свою очередь раненный.

Рана Пушкина была слишком опасна для продолжения дела — и оно окончилось. Сделав выстрел, он упал и два раза терял сознание. После нескольких минут забытья, он наконец пришел в себя и уже более не лишался чувств. Положенный в тряские сани, он, на расстоянии полуверсты самой скверной дороги, сильно страдал, но не жаловался. Барон Геккерен, поддерживаемый мною, дошел до своих саней, где дождался, пока не тронулись сани его противника, и я мог сопутствовать ему до Петербурга. В продолжение всего дела, — заключает свое письмо д'Аршиак, — обе стороны были спокойны, хладнокровны, исполнены достоинства».

Вересаев вложил письмо в папку и достал другую бумажку.

— Нам известно, что Пушкин был ранен в правую сторону живота. Пуля, раздробив кость верхней части ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в живот и там остановилась. Прошу, друзья, обратить ваше внимание на одну любопытную деталь. В письме Жуковского к отцу Пушкина о дуэли написано так: «Геккерен упал, но его сбила с ног только сильная контузия. Пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против лодыжки. Эта пуговица спасла Геккерена».

А в оставленных записках А. Щербинина мы читаем следующее: «На коленях, полулежа, Пушкин целился в Дантеса в продолжение двух минут и выстрелил так метко, что если бы Дантес не держал руку поднятой, то непременно был бы убит, пуля пробила руку и ударилась в одну из металлических пуговиц мундира, причём всё же продавила Дантесу два ребра».

Версия о том, что жизнь Дантеса была спасена

благодаря пуговице, не вызывала в течение почти столетия ни у кого никаких сомнений. Однако в двух этих документах мы находим серьезное разночтение: в одном утверждается, что пуля будто бы попала в пуговицу мундира, а в другом — в пуговицу, которою панталоны держались. Разница существенная!..

Тот осенний вечер в старом малеевском доме не забудется

никогда. Перед глазами возникает Вересаев в синей толстовке. Он возбуждённо кружится по комнате и то достаёт из папки новый документ, то вновь с величайшей аккуратностью укладывает его обратно.

Он подробно рассказал нам о ране Пушкина, докторе Арендте и состоянии медицины той эпохи.

— Как известно из протокола дуэли, Дантес выстрелил в Пушкина с расстояния одиннадцати шагов. «Кажется, у меня раздроблено бедро!» — падая, крикнул Пушкин.

По свидетельству врача В. И. Даля, принимавшего участие во вскрытии тела поэта, «рана была тяжёлая и сильно кровоточила… Дома раненый поэт сам разделся и надел чистое бельё. Врача нашли не сразу. Сначала приехал второпях захваченный акушер, и только позже прибыл хирург».

Собравшись у постели мучительно страдавшего поэта, хирурги нерешительно прощупывали зондами рану, увеличивая и без того невыносимые страдания раненого. На хирургическое вмешательство по своим знаниям Арендт не мог решиться. Чтобы остановить кровь, он сначала сделал перевязку. А когда появились воспалительные процессы, стал давать больному каломель, опий, лавровишневые капли, предложил ставить ему компрессы на живот и делать промывание. Эти меры не могли помочь Пушкину.

Новиков-Прибой задал Вересаеву вопрос:

— А могли бы врачи спасти Пушкина в наши дни?

— Безусловно, — убеждённо ответил Викентий Викентьевич, — при нынешнем состоянии и оснащении медицины его мог бы спасти наш рядовой хирург. Арендт и все другие врачи предприняли всё, что от них зависело, но их знаний было недостаточно.

Однако мы отвлеклись от нашей основной темы, от пуговицы, спасшей Дантеса…

Сняв пенсне, Викентий Викентьевич с загадочным выражением сощуренных глаз оглядел наше притихшее общество.

— Что же это за пуговица такая?.. Дело в том, что один инженер, по-видимому специалист по оружию, прислал мне недавно с Урала письмо. Он выражает своё недоумение по поводу пули, будто бы отлетевшей от пуговицы Дантеса и спасшей ему жизнь. «Пуговица привлекла моё внимание, — пишет автор письма, — и я стал задумываться над этим вопросом. Что-то странное и непонятное было в этой пуговице.

Потом, — сообщает он, — я сходил в музей и достал там пистолет пушкинских времен. Устроив манекен и надев на него старый френч с металлической пуговицей, я зарядил пистолет

круглой пулей и с одиннадцати шагов, как это было на дуэли у Пушкина, выстрелил в пуговицу. Дорогой товарищ Вересаев, — восклицает инженер, — пуля не только не отлетела от пуговицы, а вместе с этой самой пуговицей насквозь прошла через манекен. Вот какая пробойная сила была в той пуле!»

Автор задает законный вопрос: как же в течение почти ста лет этот факт не привлек внимания учёных-пушкинистов? — и выдвигает смелое предположение: а не был ли надет у Дантеса под мундир панцирь или кольчуга?

Викентий Викентьевич молча развёл руками.

— Эта гипотеза инженера теперь уже не давала мне покоя. «Мог ли дворянин, — думал я, — пойти на такой низкий поступок?» Пожалуй, нет. Но вот сегодня меня осенила неожиданная догадка: не посылал ли Геккерен в Архангельск человека со специальным заданием — заказать там для Дантеса кольчугу или панцирь? И не поэтому ли он был прописан на какой-то там Оружейной улице? Ведь это, по-видимому, неспроста — на Оружейной…

И Вересаев, нервно поглаживая ладонью лысеющую голову, снова стал шагать по комнате: его огромная чёрная тень тревожно заметалась по потолку и стенам, невольно вызывая в сознании картину злодейского убийства Пушкина.

Характер человека иной раз откроется в одном поступке, фразе, движении души.

Так неожиданно засверкал, заискрился перед изумлёнными взорами друзей Викентий Викентьевич Вересаев в тот вечер воспоминаний о Пушкине и знакомства с архангельским гостем. Оказывается, за спокойной и не очень выразительной внешностью старого врача скрывался человек устремлённый, порывистый, натура, полная взволнованной одержимости и молодой влюблённости в свою профессию литератора, ученого, исследователя.

Конечно, факты, приведённые Вересаевым, были не новы, они хорошо известны по воспоминаниям современников и друзей Пушкина, но всем нам был преподан великолепный урок — как, с какой строгой взыскательностью и настойчивостью учёный, художник должен вести поиск, изучать события истории.

Собирая буквально по слову, но крупинке все, даже самые малозначительные сведения, рисующие Пушкина в жизни, рассказывающие о его привычках, встречах, переживаниях и настроениях, о радостях и невзгодах, сопровождавших поэта, Вересаев говорил:

— Многие сведения, приводимые в воспоминаниях

современников, конечно, не всегда достоверны и носят признаки слухов и легенд. Но ведь живой человек характерен не только подлинными событиями своей жизни, — он не менее характерен и теми легендами, которые вокруг него создаются.

Одержимость Вересаева как раз и заключалась в той невиданной и беззаветной преданности, с какой он многие годы собирал факты из жизни любимого поэта.

И это постоянное творческое беспокойство, юношеский жар сердца как-то не вязались с его внешним обликом, глуховатым баском, размеренной и неторопливой его походкой, старинным пенсне.

Вересаева часто можно было встретить на улице, в магазине, в кино, он любил ходить пешком, и ни одному человеку не могло прийти в голову, что этот скромный старик с небольшой бородкой и внимательным взглядом серых близоруких глаз — писатель, произведения которого переведены во многих странах мира и напечатаны рядом с Толстым, Горьким, Буниным, Куприным…

Подошла зима. Снег, густой, лохматый, валил с неба сплошной стеной. Я встретил Вересаева на Арбате. Викентий Викентьевич стоял у витрины книжного магазина, прикрываясь рукой от снега. И мне сразу вспомнился тот вечер в Малеевке, когда он рассказывал нам о дуэли Пушкина с Дантесом. Захотелось узнать о дальнейшей судьбе его поисков.

В этот раз Вересаев казался почему-то значительно старше своих лет.

— Работал ночью. А работать надо только с утра.

Да, за прошедшие полгода он собрал и систематизировал многие факты и свидетельские показания людей, причастных к дуэли Пушкина.

— Получились очень любопытные выводы.

Я проводил Викентия Викентьевича домой. Он показал мне документы, которые привлекли его особое внимание. Прежде всего, воспоминания очевидца, секунданта Пушкина и его лицейского товарища Константина Данзаса, записанные с его слов Аммосовым. Вот как он описывает выстрел Пушкина:

«Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Дантес упал. На вопрос Пушкина у Дантеса, куда он ранен, Дантес отвечал: «Je crois que la balle dans la poitrine» («Мне кажется, что пуля у меня в груди»).

«Браво!» — вскрикнул Пушкин и бросил пистолет в сторону.

Но Дантес ошибся: он стоял боком, и пуля, только контузив ему грудь, попала в руку».

— Пуля попала сначала в грудь, а потом уже в руку, —

многозначительно подчеркнул Вересаев слово «сначала». — Обстоятельство немаловажное! Об этом говорит очевидец, секундант, опытный военный человек, видевший событие воочию!

Викентий Викентьевич разложил на столе несколько папок.

— Кроме показаний Данзаса, сохранился ещё один важный документ — это рапорт лейб-гвардии артиллерии штаб-лекаря Стефановича от 5 февраля 1837 года, который, согласно предписанию старшего доктора кавалерийского корпуса Ерохина, освидетельствовал рану и состояние здоровья Дантеса вскоре после дуэли.

Хотите познакомиться с этим документом?

И Вересаев прочитал:

— «Поручик барон Геккерен имеет пулевую проницающую рану на правой руке ниже локтевого сустава на четыре поперечных перста; вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость, более к наружной стороне. Рана простая, чистая, без повреждений костей и больших кровеносных сосудов. Больной может ходить по комнате, разговаривать свободно, ясно и удовлетворительно, руку носит на повязке и, кроме боли в раненом месте, жалуется также на боль в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию, каковая боль обнаруживается при глубоком вдыхании, хотя наружных знаков незаметно…»

Викентий Викентьевич дал мне ещё раз внимательно перечитать рапорт Стефановича.

— Этот официальный медицинский документ бесспорен и наиболее достоверен. С точной беспристрастностью врач Стефанович научно описывает рану, её характер и место: на четыре поперечных перста ниже локтевого сустава, вход и выход на небольшом расстоянии друг от друга, раны несложные, чистые, без повреждения кости и больших кровеносных сосудов.

Но, позвольте, спросим мы, а где же те «два продавленных ребра», упоминаемых в записках Щербинина?.. Уж такая контузия наверняка была бы замечена врачом. Нет, «наружных знаков незаметно», — констатирует Стефанович.

И вот тут-то мы, как говорится, вплотную подходим к версии о чудесной пуговице — сначала на мундире, а потом на брюках, — будто бы спасшей жизнь Дантеса.

Откуда возникла эта версия? Кому она была выгодна?

Безошибочно можно утверждать, что первым пустил её в ход сам Дантес. Необходимо было как-то оправдаться перед обществом, объяснить своё спасение, замести следы бессовестного и подлого поступка. Отсюда и появилась эта

злосчастная пуговица в письме Жуковского, адресованном отцу убитого поэта. Жуковский постоянно встречался с Геккеренами, и, по свидетельству Данзаса, именно он, желая примирения сторон, отправился после первого вызова от Геккерена к Пушкину — успокоить его и разъяснить, что Дантес встречался с Натальей Николаевной будто бы с благородными целями, имея намерение жениться на её сестре.

Таким образом, первые подробности дуэли Жуковский, несомненно, мог получить лично от самого Дантеса, который и ему и врачу Стефановичу показал, что пуля, пробив сначала руку (от чего, конечно, удар её должен был бы ослабиться), стукнулась затем о пуговицу и нанесла ему контузию, сбив с ног.

Однако странное противоречие: если удар пули был ослаблен, то она вряд ли смогла сбить с ног молодого 25-летнего гиганта-кавалергарда. А если её удар был действительно таким, что свалил атлетически сложенного и вполне здорового человека, каким и был Дантес (и даже смять ему два ребра!), то врач Стефанович, наверное, обнаружил бы какие-либо следы подобной травмы.

Стефанович утверждает обратное: никаких следов на теле незаметно. Однако устную жалобу больного он фиксирует. Сделать это, как врач, он был обязан.

Одной из серьезных улик в том, что поединок был задуман и подготовлен заранее, является подлинное военно-судебное дело 1837 года о дуэли Пушкина с Дантесом-Геккереном.

Раскроем папки и познакомимся с ним.

Вересаев включил настольную лампу.

— Больше всего нас, конечно, интересует та непонятная и необъяснимая на первый взгляд двухнедельная отсрочка, для чего-то понадобившаяся барону Геккерену.

Вызов Пушкиным Дантеса на дуэль перепугал посланника, и он — персона, представляющая коронованную особу, — унижается до того, что едет к какому-то камер-юнкеру, стихотворцу, с поклоном и просьбой об отсрочке дуэли. Дипломат, он сумел вырвать эту отсрочку. Она понадобилась ему, чтобы любыми средствами задержать дело с вызовом Дантеса на дуэль и как следует подготовиться к мести за своё унижение перед Пушкиным и обществом. Для этого он тайно посылает своего человека за панцирем.

До Архангельска не близко, время надо тянуть, можно пока и притвориться.

На свадебном обеде, данном графом Строгановым в честь новобрачных, Георга Дантеса и Екатерины Гончаровой, старик Геккерен, подойдя к Пушкину, сказал ему, что теперь, когда

поведение его сына совершенно объяснилось, он просит забыть всё прошлое и изменить отношения свои к нему на более родственные. Пушкин сухо ответил, что, невзирая на родство, он не желает иметь с Дантесом никаких отношений.

Так вёл себя Геккерен после первого вызова. Но представим себе, что посланный им человек уже доставил из Архангельска панцирь для Дантеса, — и всё моментально меняется! Непонятные поступки и действия трусливого барона сразу получают свое объяснение и становятся на место.

Теперь, когда в руках имеется надёжная, непробиваемая пулей броня, Геккеренам бояться нечего! Отсрочка им больше ни к чему. Оба негодяя торопятся поскорей выполнить своё чёрное дело.

Вот отрывок из показаний Данзаса, данных 11 февраля 1837 года в присутствии комиссии военного суда:

«…но когда г-н Геккерен предложил жениться на свояченице Пушкина, тогда, отступив от поединка, он, однако ж, непременным условием требовал от г-на Геккерена, чтоб не было никаких сношений между двумя семействами. Невзирая на сие, г.г. Геккерены даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женою его, с которою встречались только в свете, давать повод к усилению мнения, поносительного как для его чести, так и для чести его жены».

Пушкина третируют, против него ополчается вся великосветская шваль, не без причастности самого царя, глубоко ненавидевшего поэта-вольнодумца.

И цель достигнута: Пушкин бросает посланнику новый вызов. Он принуждён к этому обстоятельствами.

Старик Геккерен не медлит больше ни одной минуты. «Мне остается только сказать, — надменно пишет он Пушкину, — что виконт д'Аршиак едет к вам, чтобы условиться о месте встречи с бароном Георгом Геккереном, прибавляя при этом, что эта встреча должна состояться без всякой отсрочки».

Секундант Дантеса д'Аршиак тоже торопит поэта.

«Барон Георг Геккерен, готовый со своей стороны явиться в назначенное место, просит вас не медлить. Всякая отсрочка будет принята им, как отказ…»

Убийцы торопятся. Они нагло угрожают поэту.

Наконец дуэль назначена.

Преждевременный выстрел Дантеса валит Пушкина на снег, и он падает лицом вниз, заливая своей кровью шинель Данзаса…

Подойдя к окну, Викентий Викентьевич горестно умолк.

Мне показалось, что я и так слишком много отнял у него времени и зря разбередил сердце старика.

На дворе уже совсем стемнело. Я распрощался с добрым и гостеприимным хозяином, сославшись на то, что опаздываю на поезд.

Вересаева удалось повидать потом лишь несколько лет спустя. Я ушёл добровольцем в Военно-воздушный флот. И вот однажды, прилетев со своей эскадрильей на первомайский парад в Москву, я встретил Викентия Викентьевича на Смоленской, в парикмахерской. Он очень обрадовался, увидев меня, и после приветствия сразу же спросил: не помню ли я случайно того молчаливого архангельца, что жил в Малеевке, не встречал ли его?

— Нет, не встречал.

— Жаль, жаль, — посетовал Викентий Викентьевич, — он мне так нужен…

После парада наша эскадрилья улетела обратно на Дон.

Вдали от Москвы следил я за газетами и журналами, с надеждой увидеть статью или очерк на волнующую меня тему о дуэли Пушкина, но нигде об этом не было ни слова.

У мер Вересаев, и загадка осталась нерешённой.

И вот тогда по чувству долга я решил написать о Викентии Викентьевиче и попробовать заняться дальнейшим раскрытием загадочной истории с дуэлью Пушкина. Аккуратно стал собирать вырезки и записывать все факты, имеющие хотя бы самое отдалённое отношение к этому невыясненному делу.

Съездил в Ленинград, побывал на месте дуэли, заходил в квартиру Пушкина, где он жил и скончался, видел круглую пулю, подобную той, какая оборвала его жизнь, библиотеку и книги, с которыми попрощался в последнюю свою минуту умирающий поэт. Переписал первый протокол полицейского врача Юденича. Наведался в Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина. Разыскал последнего потомка поэта, 37-летнего Григория Григорьевича Пушкина. Ещё раньше, в Москве, я познакомился с 84-летней правнучкой Пушкина, Александрой Александровной, жившей на Арбате, в доме № 31. Но ничего нового о Пушкине узнать так и не удалось.

Надо было найти письмо уральского инженера, а также разыскать архангельского незнакомца, подробнее расспросить его о той дорожной книге для приезжающих, где был записан посланный от Геккерена человек.

Уже после войны ездил я в Малеевку с тайной надеждой отыскать там какие-нибудь записи или документы тех лет, повидать колхозников из соседней деревни, бывавших в нашей писательской коммуне. Но, кроме старой Феклуши, когда-то возившей нам из лесу дрова, в живых уже почти никого не

осталось.

Фашисты сожгли дом и библиотеку. А библиотекаршу, пытавшуюся отстоять ценные книги и рукописи, немецкий офицер застрелил из пистолета.

Я выспрашивал у своих друзей и знакомых, живших или бывавших когда-либо в Архангельске — лётчиков, моряков, писателей и журналистов, — не попадалась ли где им такая книга дорожных записей.

Несколько писем послал я в различные городские организации Архангельска с запросом: есть ли там улицы или пригороды, где жили когда-либо оружейники (или их потомки), или улицы, имеющие по названию отношение к оружию. Пришёл ответ из адресного бюро Архангельска; в нём любезно сообщали, что, по сведениям Краеведческого музея, в XVII веке в Архангельске действительно существовали улицы оружейных мастеров: Стрелецкая, Посадская и другие, где, вероятно, и проживали мастера-оружейники. Но после перепланировки Архангельска найти эти улицы трудно.

В январской книжке журнала «Новый мир» за 1956 год были опубликованы материалы Тагильской находки, касающиеся дуэли Пушкина с Дантесом, с литературными пояснениями И. Андроникова.

Переписка Карамзиных ещё раз подтверждает, что первый вызов Пушкина застал Геккеренов врасплох и они спешат с женитьбой Дантеса на старшей Гончаровой, смахивающей, по словам современника, «на иноходца или на ручку от помела». Их действиями руководит чувство мести и страха перед яростью Пушкина, слывшего, как известно, отличным стрелком.

Вот строки из писем Тагильской находки:

«Завтра, в воскресенье, будет происходить эта странная свадьба».

«Что это — великодушие или жертва?» — спрашивает императрица, желавшая знать подробности о «невероятной женитьбе Дантеса».

«Очень все это странно и необъяснимо, и вряд ли приятно для Дантеса. Вид у него отнюдь не влюблённый».

И старый, хитрый развратник Геккерен, и молодой повеса — его пасынок на первых порах ведут себя в высшей степени тактично, плетя тонкую и сложную интригу, стараясь привлечь друзей Пушкина на свою сторону.

Перед нами признание одного из членов той самой семьи, куда Пушкин обращался в особенно тяжёлые минуты своей жизни, Александра Карамзина:

«Наше семейство он (Дантес) усерднее, чем раньше, заверял в

своей дружбе; он делал вид, что откровенен со мной до конца, и не скупился на излияние чувств, он играл на таких струнах, как честь, благородство души, и так преуспел в своих стараниях, что я поверил в его преданность м-м Пушкиной и в любовь к Екатерине (Гончаровой), словом, во всё самое нелепое и невероятное, но только не в то, что было на самом деле».

Прошли те необходимые для выполнения задуманного злодейского плана две недели — и так разительно, буквально на глазах, меняется поведение обоих авантюристов! С открытой, вызывающей наглостью уже женатый Дантес начинает приволакиваться за женой поэта. Сестра жены Пушкина, Александра Николаевна, рассказывала впоследствии: «…они встречались в свете, и там Жорж продолжал демонстративно восхищаться своей новой невесткой: он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерен намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что, если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого».

Пусть говорят найденные письма очевидцев-современников.

«Это начинает становиться безнравственным сверх всякой меры, — читаем мы в письме С. И. Карамзиной. — Пушкин называл Геккерена «старой сводней» (тот, действительно, играл эту роль)», — заключает она в скобки своё мнение, основанное на личных и непосредственных наблюдениях.

Дуэль в письме описана, несомненно, со слов Дантеса или Жуковского. Опять та же выдуманная версия с пуговицей. «Он долго целился, пуля пробила руку Дантеса, но только мягкую часть, и остановилась против желудка — пуговица на мундире предохранила его, и он получил только лёгкую контузию в грудь, но в первую минуту он зашатался и упал».

В найденных письмах снова подтверждается, что автором рассылаемых пасквилей был старый Геккерен. Враги не останавливались ни перед какими гнусными средствами. И кольчуга, надетая под мундир, вероятно, не очень терзала совесть убийцы. Он не боялся.

Данзас, свидетель головокружительной карьеры Дантеса, рассказывал, что, приехав в Россию, этот никому не ведомый авантюрист «был принят в кавалергардский полк, прямо офицером, и, во внимание к его бедности, государь назначил ему от себя ежегодное негласное пособие».

Царь прикармливал и одаривал (негласно!) будущего убийцу ненавистного ему поэта.

Пушкин убит. Казнён ли убийца, согласно суровым русским

законам?

Нет, помилованный царём, он отпущен за границу.

Загадочная история с дуэлью не давала мне теперь покоя ни днем ни ночью.

Однажды в разговоре писатель М. Никитин случайно обронил фразу о том, что он где-то читал заметку, посвященную дуэли и пуговице Дантеса. К сожалению, он не помнил где. В каком-то провинциальном журнале. Напечатано это было после войны. Фамилия автора — Алексеев. Полковник Алексеев — это он помнил твердо.

Не буду описывать все хлопоты и огорчения — а их было не мало, — в конце концов все же удалось выяснить, что заметка действительно была напечатана в одном из сибирских журналов. Но опубликована она была не после, а до войны, и фамилия автора вовсе не Алексеев, а Комар, и он — не полковник, а инженер.

«А может быть, это и есть тот самый инженер, что писал Вересаеву?» — подумал я.

И вот наконец журнал в моих руках. Заметка небольшая, и называется она: «Почему пуля Пушкина не убила Дантеса?»

Приводя некоторые из уже известных нам показаний современников, автор пишет:

«Дуэль происходила на обычных в то время гладкоствольных пистолетах, заряжавшихся свинцовой пулей».

Подробно, со знанием дела, М. Комар разбирает детали поединка.

«Если принять во внимание диаметр пули, равный 1,2 сантиметра, а начальную скорость при 11 шагах расстояния и при чёрном порохе — около 300 метров в секунду, о чём имеются указания в специальной литературе, то можно представить себе огромную силу удара такой пули. Это удар, от которого человек устоять на ногах не может.

Этот сильный удар пришелся на небольшую площадь, около 1 квадратного сантиметра, которая соответствует указанному размеру пули.

Сильный удар пули при этих условиях должен произвести большой разрушительный эффект. То, что пуля Пушкина пробила руку Дантеса без повреждения кости, нельзя признать большим эффектом. На эту работу израсходовалась только незначительная часть всей силы удара, а главная часть его обрушилась на пуговицу. Она должна была если не разрушить, то деформировать пуговицу и вдавить её в тело.

Можно допустить, что пуговица задержала пулю, но от

сильного удара она предохранить не могла. Как следствие удара, на теле Дантеса должен был остаться след в виде кровоподтёка, синяка и т. п.

Что же помешало пуле проникнуть дальше после того, как она пробила руку? Что спасло Дантеса? — задаёт вопрос автор заметки и заключает:

«По нашему мнению, Дантес спасся только благодаря тому, что он вышел на дуэль в панцире, надетом под мундир в виде корсета.

Этот панцирь не только предотвратил дальнейшее проникновение пули после ранения руки, но и избавил Дантеса от всяких следов удара на теле, так как удар распределился благодаря панцирю на большую площадь.

В то время, несомненно, такие панцири существовали и применялись. Они могли быть металлическими и вместе с этим мягкими, в виде стальных чешуек или пластинок. Если их не было в тогдашней России, то в Западной Европе они, несомненно, были».

Инженер М. Комар, живший в Сибири, не знал о встрече Вересаева с архангельцем и посланце Геккерена в Архангельск. Он дошел до этих выводов своим собственным логическим путем.

«Допустима ли такая версия с точки зрения высоты моральных устоев Геккерена и Дантеса, поскольку выход на дуэль в панцире был бесчестным поступком?» — спрашивает в заключение автор заметки.

И ответ ему даёт предпосланное публикации заключение Викентия Викентьевича Вересаева, написанное им незадолго до смерти.

«При внимательном изучении обстоятельств, сопровождающих дуэль Пушкина с Дантесом, — пишет Вересаев, — настойчиво встает вопрос: как мог выстрел Пушкина причинить Дантесу такое лёгкое ранение? В статье инженера М. З. Комара вопрос получает разительно простое, и на мой взгляд, чрезвычайно убедительное объяснение. Оно срывает с Дантеса даже слабый ореол показной «рыцарственности» и ярким штрихом дорисовывает гнусную фигуру негодяя, лишившего нас Пушкина».

Значит, Вересаев был убеждён в своей догадке!

Догадок много. Они различны. Дуэль и гибель Пушкина до наших дней приковывают к себе внимание крупнейших литературоведов мира. Автор не ставил перед собой никаких особых научных задач. Он просто написал рассказ — историю одной из таких догадок. Он считал это своим долгом.

P. S. Спустя три года после опубликования этих заметок в газете «Известия» было напечатано сообщение ТАСС. Вот оно:

«ЭКСПЕРТЫ ОБВИНЯЮТ ДАНТЕСА

Ленинградские судебно-медицинские эксперты через 126 лет после дуэли, погубившей Пушкина, обвинили его противника Дантеса в преднамеренном нарушении существовавшего тогда дуэльного кодекса.

Эксперты установили, что пистолет Дантеса был более крупного, чем у Пушкина, калибра и обладал повышенной убойной силой. Больше того, современные криминалистические методы помогли установить, что под кавалергардским мундиром Дантеса находилось тайно надетое защитное приспособление. К барьеру против поэта вышел не дуэлянт, а заведомый убийца.

В процессе судебно-медицинской экспертизы было объективно проанализировано 1500 первоисточников, в том числе записки свидетелей и очевидцев поединка.

Данные баллистической экспертизы полностью отвергают несостоятельные версии о рикошете, который якобы сделала пуля Пушкина от пуговицы на одежде Дантеса».

Так подтвердилась история неразгаданной догадки…

Специальный корреспондент

«Молния Москва «Комсомольская правда» Борта «Красина» Тихого океана пути между пальмами Калифорнии льдами Берингова моря спешу приветствовать друзей Днём печати Мне этот день придётся провести Канаде где даже нет нашего отделения Завтра завершаем десять тысяч миль пятого рассвете приходим Ванкувэр Экстренная погрузка и во льды

Привет Розенфельд»

Сегодня собрались мы, твои товарищи, и вспомнили о всех наших встречах с тобой. А встречались мы в самых неожиданных местах: на далёкой зимовке, в глухой сибирской тайге, на палубе ледокола, в долине Вахша, в экспедиции ЭПРОНа, в знойных Каракумских пустынях, в гондоле дирижабля, на скоростных автогонках, на борту подводной лодки, в Маньчжурии, Испании, Финляндии, на Шпицбергене, в Монголии, на пляже Калифорнии, на мысе Флора, у ледника, похоронившего каменную хижину полярного исследователя Нансена, на острове Джексона, в гостях у Чкалова, на Халхин-Голе, в атакующем танке, на борту бомбардировщика, в глубоком тылу у немцев — и бог знает где только не встречали тебя друзья и знакомые.

Встречались — и тут начинался, как ты любил говорить, «тот большой вальс»! Рассказам, шуткам и воспоминаниям не было конца. И как приятно было видеть твоё возбуждённое лицо, твою чудесную, мальчишескую улыбку, живые, с большим разрезом, сверкающие глаза и это невыразимое, нетерпеливое желание первым поразить друга необыкновенной, сногсшибательной новостью!..

Я не знаю среди всех своих знакомых равного тебе по мастерству рассказчика. Ты любил заглянуть в распахнутый от восторженного удивления рот собеседника. Тонкий и наблюдательный газетчик, ты подмечал в жизни тысячи удивительных мелочей, на первый взгляд обычных и совсем неинтересных, но они сразу оживали в твоих ярких, мастерских пересказах. Задушевность и обаяние всегда влекли к тебе сердца людей. Ты умел поговорить со стариком и поиграть с ребенком. Жизнь во всех её проявлениях всегда была основной темой твоих

произведений.

Вот я раскрываю альбом, в нём бегло запечатлены твои жизненные маршруты.

Скоростной автопробег легковых машин отечественного производства. Маршрут Москва — Алма-Ата — Москва. Тринадцать тысяч восемьсот километров. Подготовка к пробегу в самом разгаре. И твоя знакомая кепка, конечно, уже тут, среди гонщиков.

Старт в июле. Можно было бы начать и раньше, но в Западном Казахстане дожди, а в Малых Каракумах жара достигает 78 градусов. Но чем опасней и сложней предприятие, тем больше оно привлекает тебя. Не страшны ни дожди, ни жара, ни дорожные лишения, главное, чтобы читатель своевременно получил полное представление о всех событиях, чтобы увидел отвагу и стойкость советского человека, его волю, упорство, благородное стремление к поставленной цели.

Каждая написанная тобою строка воспитывала нашу молодежь, делала её мужественней, инициативней, помогала осмыслить окружающую действительность.

Первые советские автомобили держали серьёзный экзамен, и ты был кровно заинтересован в том, чтобы все двадцать машин, стартуя из Москвы и пройдя свыше трети земного шара, благополучно вернулись домой.

Флаг стартера поднят, машины срываются со старта, и с этой минуты экипаж предоставлен самому себе. Они трое — хозяева своей удачи. И что бы ни случилось в пути, водителю никто не имеет права помогать, кроме двух его спутников. На заправку даётся всего двадцать минут, в остальное время экипаж может ехать, отдыхать, спать, есть — по своему усмотрению… Ни отдых, ни еда не принимаются в расчёт времени. Автомобиль считается в пути…

Ты с детства влюблён в тяжёлый труд моряков, пилотов, машинистов, шофёров, и ты никогда не избегал самого тяжёлого труда, всегда выполняя обязанности механика или матроса, штурмана, водолаза, грузчика или каюра. И когда, качаясь от усталости, люди замертво падали на постель, на траву, на землю, ты брался за перо и неутомимо заполнял страницу за страницей, спеша до рассвета закончить очередной «подвал» для газеты…

Накануне старта мы сидели в московском Клубе журналистов, и ты с жаром рассказывал об этом путешествии.

— Страна необычайно быстро автомобилизуется, и надо, чтобы водитель учился самостоятельно ориентироваться, выбирать лучшие, наиболее выгодные пути, объезды, переправы,

сокращать расстояния.

Карта в руках, и решай сам — как лучше и быстрее доехать.

Это умение потом всегда пригодится, — говорил ты, с лукавой и многозначительной хитрецой прищуривая глаз. — Кроме того, в скоростном пробеге мы дополнительно испытаем отечественные машины на проходимость, выносливость, скорость. Советский водитель никогда и нигде не должен теряться! Залез в солончаки, застрял в песках, попал в болото — найди выход, изобретай, как выбраться из беды…

— Каков же маршрут, по каким дорогам будут мчаться участники гонок?

Ты отлично знал географию страны.

— Из Москвы до Горького — по шоссе. От Горького — профилированная дорога до границ Чувашии. Чувашия знаменита своими чудесными дорогами. Немного хуже пути в Татарии. Затем мы попадаем в степь, где лишь норы сурков и тушканчиков. Степью — до Актюбинска.

Один из самых трудных участков — путь к Казалинску. В Малых Каракумах песок, солончаки, кочки. У Аральского моря машинам придётся ехать по обрывистому берегу. Сорок километров автомобиль медленно будет идти, прижимаясь к обрыву. Правые колёса в морской воде. Солончаки издали кажутся прекрасным, ровным, как скатерть, белым пространством. Машины набирают скорость — и вдруг, стоп!.. Рыхлая солёная грязь хлюпает под колесами. Арыки, лессовая пыль — всё это придётся узнать водителю пробега.

От Чимкента до Фрунзе и Алма-Аты машины переберутся через горный перевал. Из знойной долины через сверкающие снега зимы они снова попадут в зелёные объятия лета.

Гонки продолжаются до Балхаша. С озера Бури-Байтал («Серая кобыла») автопробег выходит на Бертысь, к площадке медеплавильного комбината.

Балхаш — Караганда — Акмолинск — Кустанай — Троицк — Челябинск — Свердловск — Пермь — Казань — Москва.

— Сколько же времени займёт пробег?

— Тридцать — тридцать пять дней.

Твоё смелое воображение рисует полную картину величайших по протяжённости гонок по степям, горам и пустыням… Но даже и твою изощрённую фантазию опрокидывает новая, советская действительность.

Вот беглая запись из твоего блокнота, она сделана на Балхаше.

«Балхаш. Площадка медеплавильного комбината Балхашстроя.

Я видел почти все новые стройки, но эта — потрясает!..»

Тебя всегда влекла живая действительность — она в тысячу раз богаче самого досужего писательского вымысла.

С каким чудесным юмором ты можешь рассказать о различных злоключениях, случившихся в служебных командировках, о встречах и знакомствах.

Вечер. Жара. На столе пиво. Ворот рубахи расстёгнут, жестикулируя, ты ходишь по комнате, твои глаза то суживаются, то выразительно округляются, а мы восхищённо следим за тобой и слушаем вдохновенный репортаж о первых шагах работы в молодежной газете.

Ночью запыхавшийся курьер с конвертом в руках ворвался в комнату корреспондента.

— Бегите! Осталось двадцать минут!

Пять дней корреспондент ждал этого сигнала, и, в минуту накинув пиджак, в одной сетке, в сандалиях, без кепки он выбежал на улицу.

Владелец прокатной машины, частник-шофёр, угрюмо оглядел подозрительную фигуру, но, заметив в руках пассажира деньги, помчался на вокзал. В конверте лежали восемьдесят рублей и записка:

«Только что получена телеграмма. Они выехали. Ваш поезд уходит в 11.30. Во что бы то ни стало успейте».

Жёлтый автомобиль — древняя гробница фараонов, бензиновая черепаха или ползучий примус — прибыл к вокзалу за три минуты до отхода поезда: как раз к закрытию кассы. Отчаянная мольба юного газетчика могла скорее растрогать вершину Казбека, но не начальника станции. Оставалось полминуты, и корреспондент решился на последнее. Он кинулся на перрон и на ходу впрыгнул в вагон отбывающего поезда. Это был международный вагон прямого сообщения с таблицей «Москва — Себеж — Рига — Берлин».

Первое голубое купе оказалось свободным. В зеркале молодой человек увидел свою фигуру и, заметив отсутствие галстука, поднял воротник, застегнулся английской булавкой, пригладил волосы и пришел к самодовольному убеждению, что в таком виде вполне прилично явиться на встречу иностранных гостей. В следующую минуту в купе вошёл англичанин. Нисколько не удивляясь, он только вынул трубку, вежливо поклонился, представился и моментально исчез.

В коридоре он сказал кому-то несколько коротких фраз, и в купе влетел разъярённый проводник.

Скандал продолжался до станции Новый Иерусалим, где

безбилетного сняли, оштрафовали, но посадили обратно в то же купе, так как в поезде именно это место оказалось свободным.

В синем сиянии, лежа на верхней полке, точно под луной, корреспондент предавался восхитительным мечтам. Он гордился тем, что его послала редакция в такую большую, ответственную командировку. Он несётся в экспрессе на встречу событиям, а редакция ждёт его телеграмм, и завтра — экстренные выпуски, слава…

В честолюбивых мечтах представитель новой комсомольской газеты на воздушном шаре фантазии окончательно оторвался от земной действительности. Он забыл, что его редакция помещается в двухэтажном доме узкого переулка, заведующие отделами бегают из комнаты в комнату и отнимают друг у друга ножницы, газета выходит тиражом в двадцать тысяч экземпляров, курьерам выдают на трамвай исключительно в случае дальних поездок, а разговор с Харьковом по телефону — сенсационное событие. Принимая Харьков, машинистка, выстукивая одной рукой сообщение, прижимает трубку и, забывая о машинке, вне себя кричит:

— Неужели Харьков? Смотрите, я сижу в Москве, а вы в Харькове!

Рыдающий голос стонет в телефоне:

— Принимайте, молчите: минута — сорок копеек.

Два дня потом машинистка рассказывала о своих впечатлениях, а подруги ей бешено завидовали. Управделами редакции терялся, когда приходили письма юнкоров без марок. И с каким трудом в последнюю минуту собрали восемьдесят рублей для посылки специального корреспондента на латвийскую границу — встречать первую делегацию австрийской рабочей молодежи!

В Себеже хозяин гостиницы, похожей на корчму времён Тараса Бульбы, продал корреспонденту шляпу, уговорил взять тросточку и, отойдя на три шага назад, радостно воскликнул:

— Вы похожи на министра! Ещё бы манишку и визитные карточки, и вы утрёте нос всем французским и немецким баронам!..

С границы в полдень прибыл поезд. Из вагона показались подростки в коротких штанах, в зелёных застиранных рубашках. Со слезами восторга бросились они обнимать первых советских людей. Потом все запели «Интернационал». Пели по-русски и по-немецки, целовались, кричали: «Да здравствует первая делегация!» Старые крестьяне, прибывшие на встречу, сдерживая лошадей, утирали от волнения глаза.

Австрийцы рассказывали, как они нелегально перебрались

через границу, чтобы попасть в Советскую страну.

Потрясающую картину встречи специальный корреспондент передал в короткой (на последние деньги), но захватывающей телеграмме:

«Приехали тчк Старики плакали».

Долго в редакции не могли забыть этого замечательного творения, не зная, кто автор сенсационного телеграфного шедевра.

Так приходилось работать тебе и всем нам в первые дни рождения «Комсомольской правды».

На снимке три человека с привязанными за спинами мешками, они переходят вброд бурную речку. Тусклый, серый день. Ты в лётном шлеме, в руках сучковатая палка.

Двое суток по мёртвой тундре и через мрачные горные ущелья, едва не погибнув в холодных бурных водопадах, двигался маленький отряд к месторождениям ценнейшего минерала.

Одним из первых побывал ты там, где через три года вырос город с университетом и десятками тысяч жителей — Хибиногорск-Кировск.

И кто знает, сколько молодых геологов, сагитированных твоими яркими и захватывающими очерками о кладах Хибинских гор, о смелых проектах советских учёных, обязано тебе судьбой и выбором этой благородной профессии!

Маньчжурия. Год — 1929-й. На просторах даурских степей — бесснежная зима. Дует противный леденящий ветер. Издалека глухо доносится артиллерийская канонада и разрывы авиационных бомб — это советские самолёты бомбят укрепления белокитайцев под Чжалайнором.

На одном из многочисленных запасных путей даурского гарнизона небольшой железнодорожный состав: шесть пассажирских вагонов. Здесь редакция и типография корпусной газеты «Отпор».

Утро. В печатном цехе деловая суетня. Идёт приправка очередного номера газеты. Вместе с клубами морозного дыма в вагон вскакивает неизвестный в кожаном пальто и кубанке.

Это был ты…

Через несколько минут в головном вагоне — в общежитии редакции, у жарко натопленной буржуйки, пока закипал огромный, на всю компанию чайник, ты успеваешь поведать самое важное о Москве, рассказать с дюжину историй и попутно узнать о делах на маньчжурском участке фронта. При этом выясняется, что ты уже знаешь гораздо больше, чем кто-либо из

всех военных корреспондентов, находящихся здесь. Приехав ночью, ты успел уже побывать у командующего, ознакомиться с обстановкой на фронте, встретился с комбригом 8-й Кубанской Рокоссовским.

— В дальнейшем, — вспоминал потом работник фронтовой газеты Кочкуров, — мы убедились, что такие «корреспондентские налеты» были в стиле Розенфельда. Приехав куда-либо на новое место, он немедленно добивался приема у всех начальников. И никто никогда не обижался на его настойчивость, подогретый живой беседой с весёлым корреспондентом.

Михаил исчезал из редакции так же внезапно, как и появлялся. Внутреннее чутьё журналиста обычно наводило его на след интересных событий. В течение первого же дня он побывал уже там, куда не могли ещё «поспеть» местные корреспонденты. Прежде всего — у лётчиков и даже слетал с ними на бомбёжку Чжалайнорских укреплений. Навестил танкистов, побывал у конников, заполнил несколько блокнотов рассказами бойцов Бурятского кавдивизиона — участников рейда и далее успел опросить первых пленных, захваченных в атаке.

А через несколько дней его яркие очерки о маньчжурских боях один за другим стали появляться на страницах «Комсомольской правды».

Очевидец штурма дома, где засела группа белогвардейцев, Розенфельд с парламентёрами появляется в расположении военного городка, принимает участие в поимке мародёров, помогает писать первый приказ советского военного коменданта города, организует на базаре раздачу населению отнятых у китайских солдат награбленных вещей, пишет по этому поводу обращение к населению города.

Он присутствовал при встрече командующего Советской Армией с генералом Ляном, сдавшимся в плен.

Генерал Лян отрицал мародерство китайских солдат среди мирного населения, но Михаил, уже успевший раздобыть снимки городского погрома, уличил генерала во лжи.

Он нигде не опаздывал, везде был первым, всё видел, всё знал.

В эти дни бесследно исчез Сергей Диковский, находившийся в передовых соединениях наших наступающих частей. От него перестали поступать корреспонденции. Уже давно истёк срок его возвращения в редакцию. Начались поиски. Живое участие в них принял и ты. Обошли все госпитали, искали Сергея среди убитых, обшарили полуразрушенные укрепления Чжалайнора, но усилия были напрасны. Все уже теряли надежду, лишь ты, как всегда, был неутомимым: в поисках пропавшего товарища ты даже

спускался в угольную шахту.

На пятый день поисков Диковский вместе с тобой явился домой, грязный, обросший бородой, едва волочивший ноги.

Узнав, что в одной из шахт укрылась группа белокитайцев, Сергей вместе с командиром взвода Мутло спустился в шахту. Они пробирались в узких переходах на ощупь, долго блуждали в темноте и в конце концов потеряли выход. Под землёй они захватили в плен девять китайских солдат и одного офицера.

Китайцы, опасаясь преследования, протянули во многих местах подземного коридора нити, привязанные к взрывателям китайских шимоз. Одно неосторожное движение — и человек мог взлететь на воздух. Как проползли между этими ловушками Сергей и Мутло — объяснить трудно. Но пленный китайский солдат, ставивший эти ловушки, снимал их с большой опаской.

Тут, у выхода из шахты, ты и встретил их, уже собравшись спускаться туда вторично.

Стране нужен уголь — и ты уже в Донбассе. В простой шахтёрской спецовке ты дни и ночи проводишь под землёй, стараясь вникнуть и разобраться в причинах отставания шахт в добыче угля.

Завязав дружбу с передовым забойщиком Востриковым, ты вместе с ним и бригадой берёшь на буксир отстающую соседнюю шахту. На это потрачены дни, но зато обследованы все забои и уклоны и обнаружены тысячи тонн новых запасов угля. В твоём блокноте появляется запись: «Четвертый уклон дает 150 тонн, а может давать 500. Рабочая сила имеется и даже с излишком… в триста человек!»

Ни одна мелочь не ускользает от твоего внимания.

На страницах газеты появляются первые очерки о социалистическом соревновании в Донбассе. А по сверкающим магистралям железных дорог во все концы страны уже мчатся эшелоны, гружённые углем. И ты счастлив, радуясь шахтерской победе.

Ночами ты сидишь за письменным столом, с лихорадочной поспешностью заканчивая книгу о новых методах работы в Донбассе, и вскоре она появляется на книжных полках, в руках шахтеров.

А неугомонный автор уже мчится в экспрессе на юг, увлечённый новой идеей осушения древних колхидских болот. Но услышав по дороге о грозных событиях, разыгравшихся на Севере с группой полярников, тут же пересаживается на встречный поезд — и через несколько дней корреспондент «Комсомольской правды» уже шагает по заснеженным улицам города

Архангельска.

«Архангельск, 16 февраля.
Гостиница «Центральная».
Моя дорогая!

Полчаса назад я думал, что свалюсь с ног от усталости, истощения и волнения. Я уже распорядился, чтобы в случае разрыва сердца мой труп отвезли в Москву, на столичное кладбище.

Только что я передал в Москву свою «сенсацию». Материал передан, и я счастлив! Счастлив безмерно — давно не помню такого радостного состояния.

…Чтобы описать тебе мои приключения, нужно три дня и три ночи. Но на секунду вообрази себе: несётся вихрь, бушует ураган, представь этот тайфун в человеческом образе — и тогда ты увидишь меня!

15-го, в шесть часов утра, ещё в ночной темноте, я приехал в Архангельск. Меня встретил Боря П., и мы через лёд реки Двины поехали в гостиницу. В поезде полтора суток я не спал. Приехали в гостиницу, но я не лёг спать. Увидев лётчиков Фариха, Козлова и Бабушкина, услыхав, что они едут на аэродром, немедленно отправился туда же. Пришлось идти по реке по глубокому снегу километра два. Я без галош, но на севере простуда меня не берёт, и, весело прыгая по сугробам, я добрался до аэропорта. Здесь собрал нужный материал и с аэродрома отправился в город в крайисполком, где познакомился с председателем тройки по спасению Голубева. С этой минуты я закружился в делах — такси здесь, конечно, нет, извозчика не достанешь, и вот я вихрем ношусь по городу. Хотел поесть, а в четыре заседание тройки. Когда сидел на заседании, я щипал себя, кусал до крови пальцы, чтобы не уснуть. В шесть кончилось заседание, и я опять помчался собирать материал — и сел писать. Едва написал — уже вызывает Москва. Не успел сказать двух слов, как выключили. Я чуть не упал от разрыва сердца. Что делать?

В Архангельск прислан специальный корреспондент «Правды» Экслер, с ним работают ещё два местных корреспондента «Правды». Их трое, я — один, но, чёрт возьми, разве можно уступить! А тут проклятый телефон всё срывает. О, дорогая моя, ты знаешь, что твой мучитель был в 14 экспедициях. Теперь он, вспоминая прошлое, приходит к выводу: ни аварии, ни катастрофы, ни смертельные опасности, лишения, голод, холод, жара и близкая смерть нисколько не повредили его здоровью. Но всю газетную жизнь его терзали телеграф, телефон и радио. Они высосали всю его молодую, горячую кровь, и сейчас, в

Архангельске, объединившись, они окончательно его прикончат.

Я переделал очерк на телеграфный язык (зпт, тчк, двтч) и послал телеграфом. Пришёл мрачный, разбитый и только лег спать, как вдруг в час ночи снова вызывают к телефону — Москва. До половины второго я орал в трубку. (Можешь не сомневаться, на следующий день я не пел Дон-Хозе в опере «Кармен»). Спать лёг радостный, что в тот же день приезда дал большой материал.

Ночью П. уехал на ледоколе «Ленин» спасать двух человек со льдины. А утром я узнаю, что они спаслись сами. Как я узнал, как достал материал — это производственный секрет.

В редакции никогда не поймут, чего мне стоило добыть и сделать этот материал, но одна мысль, что «двое на льдине» будут в других газетах, сводила меня с ума, и я с бешеной скоростью делал материал…

Дело с Голубевым безнадёжное — ещё 7–8 дней полетают лётчики, и всё кончится ничем. Одна надежда на лыжников.

Веду кипучий образ жизни — встаю в шесть, ложусь в час ночи и сразу засыпаю. Всё время на морозном воздухе. Даже поесть некогда. Думал, что не удастся тебе написать, но вдруг почувствовал, что хочется, нужно.

…Совершенная неожиданность: в гостинице встречаю Сашу Погосова. Он сегодня уехал на «Седове» на зверобой. Больше новостей нет, а то, что в Архангельске тебя помнят и любят, — это не сенсация.

Я вижу, что письмо получилось больше, чем очерк, но как бы ни было, тебе придётся прочесть.

P. S. 17 февраля. 7 часов утра.

С утра сегодня радостный сюрприз. Встал я в шесть часов, пошёл будить лётчика Козлова, который сегодня улетает (я с ним сдружился — все пилоты очень хорошие ребята, и мы быстро сошлись).

Прихожу — они уже поднимаются. В номере у них радио, слушаем Москву — вдруг:

— Слушайте «Последние известия». Слушаем, и… я слышу:

— «Комсомольская правда» сегодня печатает рассказ двух спасённых с вепринского маяка».

И пятнадцать минут по радио передавали мой материал! Я сидел и слушал, радуясь, что он напечатан, а кроме того, удивлялся, что они (радио) прочли его целиком. Раз так, значит, должно быть, интересно. Очень, очень рад!

Сейчас уже семь часов утра. Поздно. Бегу на аэродром. Хочу дать сегодня отлёт Бабушкина и Козлова…»

И вот ты взбегаешь по трапу на борт ледокола: «Малыгин»

отправляется к Земле Франца-Иосифа. Это любопытная экспедиция: по пути к бухте Тихая ледокол должен встретиться с дирижаблем. Необыкновенное событие привлекло на борт ледокола массу иностранных туристов. Здесь англичане, французы, американцы. Среди туристов и Умберто Нобиле, начальник экспедиции с трагически погибшего при перелёте через полюс дирижабля «Италия».

На рассвете 19 июля «Малыгин» выбрал якоря, дал отходные гудки и вышел в Белое море. Двадцатого он прорывался в туманах Баренцева моря, через два дня ты уже рассматривал в бинокль скалистый берег острова Мак-Клинтока. Это уже была Земля Франца-Иосифа.

На крутой волне «Малыгин» вошел в бухту Тихая. На берегу гремят выстрелы, с крыши самого северного в мире здания одиннадцать зимовщиков салютуют ледоколу.

В тумане Баренцева моря ты жадно читал книги полярных путешествий, запоминая названия островов и имена исследователей Арктики, историю их отважных подвигов: полёт к полюсу воздушного шара Аидрэ, исторический дрейф нансеновского «Фрама», гибель лейтенанта Седова, мучительное плавание «Святого Фоки», полёт «Норвегии», катастрофу «Италии», жертвенный подвиг Руала Амундсена…

Здесь, в бухте Тихая, состоялась встреча ледокола с дирижаблем «Граф Цеппелин». Шлюпка с почтой подъехала к гондоле, и дирижабль, не задерживаясь ни минуты, взял направление на Северную Землю.

А ты, свидетель этого единственного события, стоишь на палубе ледокола, охваченный одной мыслью, одним страстным желанием.

— Даёшь в советскую Арктику советский дирижабль!.. Пусть у ворот полюса гудят ледоколы, летают самолёты, носятся моторные лодки. Но мы должны все силы отдать, все на НАШ, НАШ дирижабль!

Хочется кричать, звать, доказывать.

И ты озаглавливаешь свой очередной очерк зовущим лозунгом: «Он будет! Он полетит!»

Ты привлекаешь внимание читателя сенсационными подзаголовками: «Три радиограммы. + Почта закрывается. + Видим землю. + Воздушный гигант над ледоколом. + Шлюпку! + Почту. + Восемнадцать минут».

…Если бы на секунду разверзлись скалы островов Земли Франца-Иосифа, расступились бы льды, развеялись туманы, если бы вся страна на секунду увидела дирижабль у острова Гукера, — с полей колхозов, с гор Дагестана, из степей Украины, из

сибирской тайги, с гор Памира, от границ Афганистана и Китая, — по всей стране раздался бы могучий клич:

— Даёшь советский дирижабль!

Он будет, и он полетит, наш дирижабль, — ты убеждён в этом.

С каким тонким юмором и чувством превосходства мог осмеять ты «цивилизованных» туристов, приехавших из Америки, чтобы увидеть своими глазами «диких людей севера», питающихся сырым мясом и танцующих первобытные шаманские пляски.

В «Долине Молчания» туристы познакомились с девушкой Арктики.

Окружая девушку с фотоаппаратами, они с настойчивым любопытством оглядывали стройную фигуру в полушубке и высоких сапогах, рассматривали её спокойное, полное достоинства лицо в кожаном шлеме.

Девушка из Арктики!.. На краю земли, среди вечных льдов… и… она не дрессирует белых медведей, не пляшет диких танцев на вершине глетчера и не ест сырого мяса?! Спокойно, уверенно она показывала вершковую полярную иву, цветы, взращённые ею среди вечных снегов; как хозяин острова, она вела гостей по долине, карабкаясь по камням к месторождениям открытого ею угля. Как опытный лектор разъясняла геологические породы, и… на второй день иностранцы уже не снимали девушку советской Арктики.

С какой трогательной теплотой рассказывал ты по возвращении о незаметных советских героях, зимующих на далеком Севере.

— Во время полярной ночи их станцию вызывает Ленинград. Им устраивают разговор с родными. Зимовщики стоят у рупора, взволнованные до глубины души. Трёхлетняя дочка молодого зимовщика говорит: «Папа, ты слышишь?.. Это говорю я, папа…»

Ты рассказываешь, и глаза твои почему-то становятся влажней: не твоя ли это маленькая Марианночка говорила с тобой?

Чтобы скрыть волнение, ты переводишь разговор на шутку, на охоту, на весёлое свидание с белыми медведями.

— Как-то сидят зимовщики, английским языком занимаются. Вдруг залаяли собаки. Охотники Кузнецов и Хантазейский бросились с фонарями в темноту. Смотрят, а на берегу неподвижно стоят два медведя.

Это были единственные гости в зимнюю ночь…

Далеко от Москвы до Мадрида,
Но сильней и сильней каждый час
Плач испанских детей, как обида,
Отзывается в сердце у нас.

Далеко до бойцов Барселоны,
Но доходит до них наш привет
Сквозь огонь, и туман, и заслоны —
Для любви расстояния нет.

И, далёкий привет наш услыша,
Забывая опасность и страх,
Мигуэль, а по-нашему Миша,
На скаку привстаёт в стременах…

Джек Алтаузен.

Осень 1938 года. Взоры всего передового человечества с тревогой устремлены к осаждённому Мадриду. Над городом, над кварталами плывут дымные облака пожарищ. Фашистские лётчики стремятся выполнить приказ генерала Франко: «Разрушить Мадрид квартал за кварталом!»

Разве можно в эти дни усидеть на месте, не побывать там, где решается судьба республиканской Испании!

Но как туда попасть?..

Одесса! Отсюда направляются советские корабли с грузами продовольствия для героического испанского народа.

Здравствуй, Одесса!

Одесские журналисты до сих пор разводят руками от удивления.

— Нам в подарок был преподнесён «большой арбуз». Розенфельд и Корольков прибыли в город инкогнито. В Одессе их знали в лицо; чтобы не возбуждать лишних подозрений, они появлялись на улицах или очень рано или поздно ночью. Их рейс: гостиница — Управление Черноморского пароходства.

Журналисты — народ наблюдательный: раз появился Розенфельд, значит, жди важных событий! Но меньше всего ожидали одесситы от прибывших москвичей этого «подарка». Розенфельд и Корольков поступили на корабль, отходящий в Испанию… рядовыми матросами. Они скрыли от Управления пароходства свою настоящую профессию.

Жаркое утро. У пирса стоит огромный «Трансбалт». На блоках спущена «беседка», в ней сидит матрос и красит борт. Он

увлечён своим занятием. С борта корабля по всему порту разносится громовой голос боцмана.

На палубе появляется в рабочей брезентовой робе и полосатой тельняшке Розенфельд, он держит в руках ведро, лицо его растерянно.

— Юрка, — кричит он вниз, — боцман какую-то команду подаёт!

И Корольков (это он раскачивается в «беседке», орудуя малярной кистью) отвечает приятелю:

— Делай что-нибудь! Бери швабру и начинай мыть палубу…

Корабль вот-вот должен отправиться в рейс, и так обидно в последнюю минуту быть списанным на берег. Нет, черт возьми, пусть там орёт непонятное боцман, швабру в руки — и Михаил с остервенелым ожесточением начинает драить палубу… Боцман любуется старательным моряком.

Через три года все впечатления войдут в книгу «Морская тайна». Приписанные другому герою, преломленные через призму личных и непосредственных переживаний, они приобретут бесценную простоту художественной правды.

Сжигаемые жестоким солнцем, словно приподнятые на воздух, качаются в дымке белые дома Алжира. Морской переход полон опасностей, подводные лодки фашистов топят мирные корабли. Ночью пароход отрывается от берегов Африки. Ты не спишь, с нетерпением ожидая утра, чтобы первому увидеть суровое побережье Испании.

И может быть, здесь, в одиночестве, под звездами чужого неба впервые приходят образы героев будущей ненаписанной книги о героях Мадрида…

С рассветом на горизонте открылись далёкие горы.

Вот она, Испания…

Серые скалы окружили спокойную бухту Картахена. На рейде в загадочной тишине медленно разворачиваются на якорях иностранные военные корабли.

На вершинах скал старинные каменные башни с орудиями. Ночью Картахену бомбили фашистские самолёты.

Погибло несколько рабочих семей.

Об этом рассказывает человек в берете с выпирающим из-под пиджака револьвером, с воспаленными от бессонницы глазами — чиновник испанского правительства.

— За несколько часов до налёта германский крейсер экстренно снялся с рейда и ушёл в море. И тут, сразу… самолёты. Надо признаться, — устало улыбается испанец, — немцы в высшей степени внимательны к нам. Они всё время снуют у

берега. На днях ни с того ни с сего два торговых судна привезли к Картахену… вино и фрукты! Ввозить в Испанию вино — это то же самое, что притащить зимой к вам, в Архангельск, баржу со снегом и льдом…

Несмотря на усталость и бессонную ночь, ты аккуратно заносишь в записную книжку все разговоры и впечатления. Читатель нетерпеливо ждёт твоих телеграмм…

Пароход выходит из бухты. Побережье пустынно. В вечерних сумерках на горизонте засверкала дрожащая золотая нить огней Аликанте. В порту пароход встречает восторженная толпа испанцев. Трап дрожит от топота ног. Незнакомые люди дружески обнимают матросов и кочегаров. «Вива Руссиа!» Ты внимательно вглядываешься в возбуждённые лица гостей, запоминая их характеры, одежду.

С винтовками в руках, разукрашенные значками и жетонами, с цветистыми повязками, перевитые лентами патронов бойцы носят на фронтовых шапочках вместо кокард… зашитые ружейные патроны.

Старик в чёрном берете показывает свежий шрам: он только что из госпиталя. Это пустяки, сегодня он снова уходит на фронт!

Моряков увозят в город.

Вдоль набережной, по тенистому пальмовому бульвару, заложив трости за спину, медленно гуляют иностранные дипломаты в котелках. С балконов зданий свешиваются флаги коммунистов, анархистов, социалистов. Проносятся автомобили, оклеенные цветными пропусками, плетутся старинные повозки — кочи, запряжённые мулами. На тротуарах, заставленных столиками, иностранцы, откинувшись в креслах, пьют утренний вермут, а рядом у киосков стоят, придерживая винтовки, добровольцы, уезжающие на фронт. Ты смотришь на сытые, холёные лица иностранцев, на этих увешанных патронами бойцов, и в памяти возникают строки из светловской «Гренады»:

Я хату покинул,
Пошёл воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать…

Пока пароход стоит в порту, ты спешишь познакомиться с героической страной, с её архитектурой, музеями, городами…

Со стокилометровой скоростью машина мчится по широкому шоссе. Как на экране, мелькают селения, города, площади с фонтанами, башни старинных замков. Вот у склада бойцы получают вместо шинелей тёплые одеяла, завтра они

направляются на фронт. С одеялами и хлебом под мышкой шагают бойцы Интернациональной бригады: французы, голландцы, немцы, югославы. На остановке пожилой голландец вскакивает на подножку машины.

— Вы были в Роттердаме? — радостно кричит он. — Но ведь это мой родной город! Три недели я пробирался из Голландии: прятался в трюмах пароходов, ехал на буферах товарных поездов. Как бродягу меня арестовали во Франции. О, сколько приключений и переживаний! Но теперь мытарства кончились. Наконец наступила спокойная жизнь. Завтра — на фронт!..

По дороге летят автобусы и грузовики, переполненные вооруженными бойцами, с алыми полотнищами: «На фронт! На фронт!»

Растерзанный, в дыму пожарищ, предстал перед твоими глазами Мадрид. В кварталах Университетского городка идут жаркие уличные бои. Из огромных каменных плит, мешков и бочек жители воздвигают на улицах баррикады.

— Но пасаран!

…Пароход заканчивает разгрузку. Город затемняется. Ночью гаснут все огни, но на горном шоссе, поднимающемся к замку, почему-то горят фонари. Иностранные корабли полным ходом уходят в открытое море. В незащищённом ночном порту у причалов остаются советские корабли, испанские торговые суда, бензиновоз и парусники.

Перед рассветом в небе загудели самолёты. Внезапно из темноты, невдалеке от парохода, взлетела красная ракета: фашист из «пятой колонны» обозначил стоянку советского судна. И сразу за ракетой у причалов упала и разорвалась бомба. Чёрные «юнкерсы» начали бомбить порт и город.

Но советские моряки стойко выполняли свой святой долг. И вместе с ними работал ты — матрос 3-го класса парохода «Трансбалт».

Из Испании ты вернулся с первым инеем ранней седины.

…Солнечное, ясное утро сияет над Москвой. Город проснулся рано, в том волнении, какое всегда ощущается в дни больших, радостных праздников.

Мы шагаем с тобой на Красную площадь: оттуда нам предстоит передавать по радио репортаж о празднике Первомая.

Ты идёшь и сосредоточенно молчишь. Я знаю, о чём… Мысленно ты подбираешь те простые, доходчивые слова, необходимые при выступлении у микрофона. Изредка ты заносишь эти слова в свою записную книжку.

А на площади — строгие, застывшие в неподвижности

квадраты войск, трибуны, заполненные гостями, тысячи глаз следят с нетерпением за стрелкой Спасской башни…

Радиорепортаж праздника ведёт поэт Виктор Гусев.

Наступает твоя очередь, а людей на площади всё больше и больше, словно весь город, вся Москва, весь народ двинулись куда-то в сияющую даль.

Твоё лицо пылает возбуждением: рассказывая о празднике на Красной площади, ты видишь перед собой своих друзей — моряков, полярников, зимовщиков, слушающих тебя на пограничных постах, в снегах Арктики, на Памире, в Донбассе, на Чукотке, на всех кораблях наших морей и океанов.

Ты был непревзойдённым мастером советской сенсации. Планируется очередной номер «Комсомольской правды». В макете обязательно оставляют «окошко», в шутку оно называется «Нападение тигра на детский сад». Здесь обычно заверстывается «гвоздь» номера. Ты умел привлечь внимание читателя необыкновенным заголовком «Облако под микроскопом» или «Медведь на мотоцикле».

В «Облаке под микроскопом» рассказывалось об аэронавтах, исследующих атмосферу. У них на борту оптические приборы, по ним на высоте определяется влажность воздуха, его температура, состояние атмосферы. «Медведь на мотоцикле» — рассказ о новой цирковой программе.

Романтик по натуре, ты любил в жизни всё необыкновеное, но выше всего на свете ты ценил человеческую дружбу. Бывало, и ты загрустишь о чём-то своём, но встретишь расстроенного приятеля, и куда девались грусть и печаль, ты сразу преображаешься, становишься весёлым, немедленно находишь для товарища слово поддержки. И не только слово!

Вот что рассказывали о тебе однажды под Новый год.

Два приятеля-журналиста, корреспонденты двух московских центральных газет, возвращались в поезде после встречи героев трансарктического воздушного перелета. В пути с одним из них случился сердечный припадок, и он обратился к приятелю с просьбой:

— Пошли, пожалуйста, в мою газету сообщение о встрече героев. Я не могу выйти из вагона. Но друг ответил:

— Что — не могу, то — не могу. Я — газетчик, и этим всё сказано. О таких вещах не просят…

Направляясь на телеграф послать в «Комсомольскую правду» свою очередную корреспонденцию, ты случайно услышал этот ответ и без всякой просьбы, выручая больного товарища-журналиста, написал и тут же отослал сообщение в его газету.

Такие корреспонденции ты слал с каждой большой остановки. Не зная об этом, больной журналист представлял, как его проклинают в редакции.

Огорчённый выбрался он в Москве из вагона — и вдруг навстречу бросаются сотрудники по редакции, крепко обнимают, благодарят за оперативность и своевременную посылку корреспонденций.

Так и не узнал больной журналист, кто был автором посланных телеграмм. А ты по скромности умолчал…

Как мы радовались твоему первому ордену! За подвиг по спасению затонувшего в Баренцевом море ледокола ты был удостоен награждения орденом Трудового Красного знамени. Водолазы полюбили смелого корреспондента вместе с командой работавшего на тяжёлых круглосуточных авралах и бог весть когда успевающего писать и посылать в Москву подробные корреспонденции об их штормовых буднях.

Война не застала тебя врасплох: всей жизнью ты был подготовлен к ней. И вот ты в военной форме уже мчишься на фронт. Перечитывая письма, видишь, сколько невзгод и лишений пришлось перенести тебе там, на фронте, но ты никогда не падал духом.

Как обрадовало всех твоё первое фронтовое письмо.

«С Новым годом? Поздравляю с большим опозданием, ибо новогоднюю ночь провёл на позициях и провёл так, что буду помнить о ней всю жизнь и всю жизнь буду рассказывать об этой ночи.

Я уже втянулся в войну… Стал настоящим военным человеком… командиром…

…Попадать приходится в различные переделки. Недавно при 30-градусном морозе двое суток ехали в метель на машине по голой степи. Совсем было замерзли. Часто приходилось вытаскивать машину из сугробов. Тут за десять минут замерзнуть можно, а мы — целыми сутками. Но я бодр, весел, песни пою…

…У меня всегда хорошее настроение от сознания, что всё идёт честно, я вернусь в Москву с поднятой головой, я фронтовик — это сознание всегда поднимает моё настроение. Когда нахожусь в редакции, веселю товарищей. Я завел обычай: каждое утро, просыпаясь первым, бужу товарищей. Я кричу, объявляя (например): «Сегодня — пятница, 9 января, 1942 года. Смерть немецким оккупантам!»

С этим кличем вскакиваю с постели и ношусь по комнате, срывая со всех одеяла.

Живёт со мной в комнате Савва Голованивский. Мы с ним

очень дружим. Друзей у меня много. Очень много. Я говорю, что после войны разорюсь на водке — столько у меня в доме будет генералов, майоров, лейтенантов и комиссаров!

…В новогоднюю ночь я был на позициях. Выпили с друзьями, посидели, а на рассвете в санях, на вороных, поехали с генералом на передовые: в эти минуты началось наступление. И я принял участие в бою. Стреляли пулеметы, били пушки… Вот как встретил я Новый год. Как у нас говорят, «с концертом». Увидимся, расскажу подробнее. Но эту новогоднюю ночь и день мне не забыть во всю жизнь».

Со всех сторон невесёлые вести. Тебя волнуют мысли о Ленинграде: там остались старики. Беспокоит и судьба младшего брата: от него пришла открытка, написанная чужой рукой. Но несмотря ни на что, ты неутомимо выполняешь свою тяжёлую работу военного корреспондента.

Семья на Волге получает твои письма.

«Дорогие мои! В первый раз за восемь лет мы встречаем Новый год в разлуке… Передаю вам маленькую посылочку, лучшего у меня ничего нет, и это достал с огромным трудом. Примите же мой скромный фронтовой подарок. Посылаю тебе, Лилечка, телогрейку — я носил её один месяц, надеюсь, она тебе пригодится. Посылаю выданные мне перчатки, у меня есть ещё, не беспокойся. В посылке: 5 кусков туалетного мыла, 2 куска хозяйственного, сахарный песок, 3 штуки печенья (не смейся, это мой 5-дневный паек), 1 плитка шоколада, кофе. (Кофе можно дать Марианночке вместо конфет).

Посмотри газеты, в которые завёрнуто всё это: там напечатаны мои вещи.

Крепко целую и тебя и доченьку! Желаю вам счастья.

P. S. Если увидишь Фадеева, передай ему сердечный привет, скажи, что работаем мы на полный ход, бодры и веселы. Передай ему моё новогоднее поздравление, а в будущем году все мы встретимся в нашем клубе!»

Знакомый всему миру голос диктора летит над страной.

«В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС.

Успешное наступление наших войск на Харьковском направлении.

12 мая наши войска, перейдя в наступление на Харьковском направлении, прорвали оборону немецких войск и, отразив контратаки крупных танковых соединений и мотопехоты, продвигаются на запад.

За время с 12 по 16 мая наши части продвинулись на глубину 20–60 километров и освободили свыше 300 населенных пунктов.

Уничтожено около 12 тысяч немецких солдат и офицеров.

Наступление продолжается.

Совинформбюро».

Вот уже две недели наши части ведут упорные наступательные бои на Харьковском направлении. Ни днем, ни ночью не утихает артиллерийская канонада, идут ожесточённые пехотные, танковые и воздушные бои. Под ударами Красной Армии тает живая сила врага.

Ты идешь в наступление вместе с передовыми частями. Думая о тебе, хочется говорить о долге, о благородстве, о честном труде воина-журналиста.

Последнее твоё письмо помечено 15 мая 1942 года. Торопливый почерк…

«Началось большое наступление на Харьковском направлении.

Всё время разъезжаю, всё время в степях под открытым небом. Вчера во время жестокого боя я отправился в самое горячее место и был от немцев в 120 метрах, не дальше и не ближе. Это в первый раз за всё время войны.

Я был так близко, что мы им в рупор кричали:

— Эргибдих, — сдавайтесь, так вашу так!..

А когда обратно шёл, их автоматчики стреляли из пулеметов: на мне золотые пуговицы. Вот они и увидели… Приходилось много раз целоваться с землёй. А тут налетает авиация — опять ложись… В общем, весело!

…Настроение очень хорошее — ведь мы наступаем, а это для нас лучший праздник».

…Твоя последняя фотография: она прислана из Воронежа в феврале 1942 года. Хмурое, безрадостное утро, резкий ветер качает голые ветви обнажённых деревьев, витрины магазинов разбиты, ты в летном комбинезоне и собачьих унтах шагаешь по пустынной улице, направляясь на телеграф. Бледное, опухшее лицо. На обороте надпись: «Это я после полёта в тыл противника». Смелый воздушный рейд наших штурмовиков в немецкие тылы был выполнен с исключительным мастерством. На боевой машине, с грозным рёвом промчавшейся над колоннами врага, ты выполнял обязанности стрелка-бомбардира. Шагая после полёта по улице Воронежа, с ещё не остывшим боевым возбуждением, ты вновь и вновь переживаешь отдельные моменты этой удачной воздушной атаки. В самолёте об этом думать некогда, человек охвачен упоительным чувством скорости,

вдохновенной лихорадкой, торжествующим ощущением своей непобедимости. Одна за другой проносятся в голове картины, полные стремительного ветра, взрывов, сопровождаемые могучей, победной музыкой моторов. Всё это нужно в полчаса изложить на бумаге, слегка вздремнуть на голых нарах и снова ринуться в гущу боевых событий.

Какая радость, командировка в Москву! Ты подходишь к парадному своего дома и… не можешь войти в квартиру: твоя семья эвакуирована в Чистополь…

«…Даже в десяти письмах невозможно описать, что произошло за это время моего молчания. Но у меня от царапины получилось заражение крови по всей правой руке, и я долго не мог писать. Теперь я руку вылечил, но писать ещё трудно, ты это видишь по моему почерку.

В Москву я приехал на семь дней и завтра уже уезжаю обратно. Увы, так нам и не удалось повидаться. Я предпринимал энергичнейшие меры, но самолёты ходят нерегулярно, и если бы я отправился в Чистополь, я рисковал бы опоздать… А я — человек военный…

_Не знаю, известно ли тебе, что я награждён орденом Красной Звезды. Это было большое торжество. Награждают у нас очень скупо. Я один пока из всех писателей на фронта отмечен наградой. В приказе командующего сказано: «За образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе против немецких захватчиков и проявленные при этом доблесть и мужество наградить…» и т. д.

…Я летал в глубокий тыл противника — это незабываемое… Всю ночь мы летали над головами фрицев, по всей Украине, над городами, занятыми немцами, нас обстреливали, ловили прожекторами, и мы, после всех операций, благополучно вернулись. Были и ещё интересные дела. При встрече расскажу. В общем, за меня вам краснеть не придётся…»

В Москве тебя приютили приятели. Эти несколько дней ты прожил в гостинице. Ты не мог остаться наедине со своим одиночеством. Вечерами собирались вместе приезжавшие с разных фронтов друзья — Евгений Петров, Лев Славин, Константин Финн. Ты пришел в гостиницу с огромным тюком сушёных фруктов. Рассказам и воспоминаниям не было конца…

Письмо семье ты отослал с Василием Гроссманом, твоим фронтовым другом.

«Это очень хороший человек, — писал ты, — и он многое тебе расскажет. Этот человек вёл себя на фронте честно, он —

крупнейший писатель, но его семья тоже мучается. Он тебе всё расскажет о нашей жизни.

И если тебе сейчас приходится тяжело, то я здесь, на фронте, кровью своей, сединами своими, стремлюсь как молено лучше вести себя, как подобает мужчине, без громких слов — как гражданину, мужу и отцу».

Я разыскал всех людей, кто последним встречался с тобой.

Военный корреспондент Наташа Бодэ видела тебя как раз накануне отбытия на передовую.

— Было жарко, — рассказывает она, — помню, мы уже скатывали шинели и ходили нараспашку. Солнце припекало… Армия шла в наступление. Это было под Харьковом, у станции Лихачёво. Настроение у меня было боевое. Вдруг встречаю Михаила. Он, как всегда, веселый, возбуждённый.

— Получен приказ из штаба армии — вас отправить отсюда!

Мне это совсем не улыбалось. Здесь все было так интересно, значительно, ярко. Я заупрямилась. Он мягко, но настойчиво приказал:

— Немедленно… Сейчас же!

И заставил меня сесть в самолёт. Я так спешила, что потеряла даже свою шапку-кубанку.

Таким я его и запомнила из окна самолёта: Михаил стоял на аэродроме в военной форме, полный сил и бодрости, со своей неизменной ободряющей улыбкой.

А утром в Ахтырке я узнала, что немецкие танки прорвали фронт и их часть попала в окружение. Больше о нём никто и ничего не слыхал…

Собираясь вместе, мы всегда вспоминаем тебя, наш дорогой друг и товарищ. Недавно книга твоих избранных произведений вышла в новом издании. Твои приключенческие фильмы «Ущелье алмасов», «Случай в вулкане» и другие не сходят с экранов страны, они не стареют. В письменном столе лежат черновики твоих недописанных книг о новых маршрутах, о встречах с интересными людьми.

Недописано либретто приключенческого фильма «Рыцари грозных ночей». В нем подвиги войсковых разведчиков, их бесстрашие, благородный риск, на который идут смельчаки, пробираясь в стан врага. Всю жизнь ты стремился создать романтический образ героя нашего времени — в своих книгах и в своих поступках. Осталась незаконченной твоя рукопись о лётчиках-истребителях.

На столе — планы, схемы, намётки, дневниковые записи, отдельные сюжеты.

Над твоим письменным столом по-прежнему развернут морской флаг — символ зовущих океанских просторов, штормовых ветров и светлой надежды…

Парень с Урала

Майским утром мне позвонили по телефону:

— Разбился Серов.

— Как, разбился?

Несчастье не укладывалось в сознании.

— Разбился вместе с Полиной Осипенко во время тренировочного полёта в закрытой кабине. Недалеко от Москвы. Подготовься к выступлению по радио.

Серов! Анатолий…

Вспомнился праздник на Тушинском аэродроме. Лиловое небо. Зарево бушующего пламени подожжённого аэростата. Беглый огонь зенитных орудий. Окружённый белыми дымками разрывов, «вражеский» разведчик уходит на сторону расположения «своих» войск.

Со старта ему вдогонку срывается дежурное звено истребителей.

Всё это я вижу с самолёта, успев вовремя подняться в воздух.

Неожиданно из-за леса, прижимаясь к самой земле, на аэродром обрушивается грозная лавина «неприятельских» штурмовиков. С диким грохотом рвутся фугасные бомбы, в секунду взлетает на воздух ангар, чёрный дым поднимается к облакам. Люди, пригибаясь, бегут через поле, стараясь скрыться от смертоносного огня спаренных пулемётов.

Бой, разработанный Чкаловым, по традиции повторяется каждый год. Над самой землёй, в дыму, над ангарами завязывается схватка истребителей. С угрожающим рёвом разворачиваются скоростные машины, набрасываясь на самолёты противника. Бой идёт одновременно на разных высотах. То одна, то другая, оставляя в небе дымные шлейфы, падают пылающие машины. Бой скоротечен. «Вражеский» аэродром разбит. После минутного перерыва, как бы подтверждая высокое боевое мастерство советских лётчиков, в зону аэродрома врезается пятёрка скоростных истребителей. Они пронзают воздух с быстротою молнии. Трудно поверить, что в этих летающих снарядах живые люди. Пятерку ведёт Герой Советского Союза полковник Анатолий Константинович Серов. Вслед за ним проносятся его товарищи — Смирнов, Якушин, Иванов и Рахов. Строем, будто связанные, они демонстрируют своё виртуозное мастерство в технике высшего пилотажа. Самолёты-стрелы проносятся над головами зрителей, в секунду набирая километровую высоту и тая буквально на глазах в необозримой небесной глубине. Этот фантастический полёт пятерки вызывает

всеобщее восхищение. Как острые кинжалы, отвесно вонзаются истребители в синий воздух и, распоров его, с рёвом уходят к невидимым звездам.

Праздник окончен. Мы возвращаемся с Анатолием домой на его «Крейслер-Империале» — машине новейшей модели, подаренной ему в Испании.

Серов разгорячён, его весёлый, яблочный румянец во всю щеку не остывает и на земле. Он ведёт машину на захватывающей дух скорости.

Серов вырос на Урале, в семье горняка. Отец работал в шахте по добыче медных руд. Семья была большая — два брата и четыре сестры. Анатолий учился в школе-девятилетке. Он пионер. Но пионер особого склада — любил поспорить и подраться. Водил дружбу с беспризорными ребятами из шайки «министров». Это был живой, здоровый, смелый и в сущности неплохой пионер. Его выбирают вожатым звена, потом вожатым отряда.

Окончив пять групп девятилетки, Анатолий поступает в школу ФЗУ. Школу он заканчивает сталеваром по рельсовой части.

Юноша увлекается спортом. Дни его загружены общественной работой: он член районного фабзавкома профсоюза металлистов и председатель бюро районного совета физкультуры.

…Раскладываю на столе папки с фотографиями и записями о Серове. Вот он курсант Вольской теоретической школы. На юношеском лице добрая полуулыбка. Руки большие, рабочие. На запястье маленькие часики. Заветные голубые петлицы с серебряными птичками. Значков различия ещё нет. Курсант.

Бегло записанный рассказ Серова о его авиационной юности.

«Впервые аэроплан я увидел в каком-то старом журнале. Решил по картине сконструировать свой аппарат. Построил. Забрался с аппаратом на крышу сарая и спрыгнул… У меня и сейчас левая нога короче правой — это от первого полёта.

Однажды прилетел на наш завод одномоторный «Юнкерс». Я с таким азартом лез к самолёту, что схлопотал от механика по шее. С этой встречи я уже считал себя причастным к авиации.

На здоровье не жаловался, с утра до ночи гонял на лыжах, на двадцатикилометровую дистанцию по пересечённой местности был чемпионом округа.

Летать учился в Оренбурге. Моим инструктором был Вася Бушев. Славный такой… Когда я учился в теорке, то с дисциплиной не ладил. Все время получал внеочередные наряды: сказывалась давняя дружба с «министрами» — вольный спортсмен, я ездил, куда хотел! А тут вдруг строгая воинская

дисциплина. Даже удирать хотел… Теорку закончил с взысканиями, а в лётной — пять поощрений получил! Помню, как только вывели нас на аэродром, как увидел перед собой учебный самолёт — всё померкло, так зажглось сердце. «На всё пойду, только б не отчислили!»

Бушев сразу угадал в молодом курсанте будущего лётчика. Школьные инструкторы, как правило, хорошие психологи: с первого же полёта они безошибочно могут определить талант и характер ученика — смел ли он, осторожен, труслив или бесшабашен.

Лётную школу Серов оканчивает «на отлично». Через полгода он уже командир звена истребителей.

На снимке молодой улыбающийся лётчик, вероятно, вернувшийся после удачного полёта. Очки подняты на лоб. В петлицах уже четыре кубика — командир звена! Немаловажная деталь — белоснежный, отглаженный подворотничок.

В звене Серова два лётчика — Власов и Сидоров. Звено знаменито по всему Дальнему Востоку — летают, как боги. В армейских соревнованиях они занимают первое место. Строем звено выполняет одновременно все фигуры высшего пилотажа, — тогда это было боевой новинкой.

Однажды на высоте в пятьсот метров, на боевом развороте, у Серова загорелась машина. Огонь обжигал лицо, злые языки пламени, как змеи, пробегали по полу кабины. Машину немилосердно трясло. Прыгнуть и спастись на парашюте, — он имел на это полное право, но разве нельзя посадить машину?!

Волоча за собой дымный хвост, лётчик с большим трудом дотянул до аэродрома. Пожар затушили уже на земле.

А через три дня на этом же истребителе Серов снова поднялся в воздух.

За отвагу и мужество молодой командир получил благодарность в приказе и награду.

— В другой раз в групповом полёте у меня в воздухе оторвался элерон, — рассказывал Анатолий. — Машину пришлось выводить ногой. Посадил…

Подмосковная весна. Соловьи. С лётчиком Таракановским лежим на травке в берёзовой роще авиагородка. Таракановский — друг Серова. Мне кажется, что близкие друзья всегда могут рассказать о товарище что-то гораздо большее, нежели он сам. О себе как-то неудобно и нескромно.

То и дело над нами в высокой весенней синеве прочерчивают пространство скоростные истребители. Таракановский лежит на спине и тоже смотрит в небо. Я внимательно слушаю его рассказ.

— С Анатолием мы дружим более двух лет. Познакомил меня

с ним Пётр Горячев, они вместе учились в Воздушной академии. Все трое мы — холостяки. Комната Серова на втором этаже. А мы с Горячевым живём внизу. У нас разработана своя сигнализация. По трубам. Свой код. Когда в столовую. Когда в гости. Когда ему к нам необходимо спуститься, когда нам к нему. Есть и аварийный сигнал — SOS.

Хороший был лётчик Горячев, да погиб. Анатолий очень переживал его гибель. Он был друг верный и преданный. Горячев, в прошлом беспризорник, был сверстником Анатолия. Его воспитали чужие люди. Парень он был задушевный, много горя хлебнул в жизни. И поэтому ценил дружбу. Характеры у них были полярно противоположны: Анатолий — живой, горячий, Горячев — тихий, спокойный и необыкновенно мягкий. Однако Серов его всегда слушался.

Большие были приятели.

Самолюбие никогда не позволяло Анатолию быть вторым или третьим. Ни в чём. В технике ли пилотирования, в спорте, в танцах — всюду быть первым! Когда я приехал, он был здесь чемпионом по лыжам. Узнав, что я тоже неплохо бегаю, Серов заволновался. И вот, когда выпал снег, мы схватились с ним в поединке. Поглядеть со стороны, техника бега у него будто и корявая, но он может шутя пробежать двадцать — тридцать километров. Вынослив, как бык. Приятели — приятели, а на лыжной дорожке — дружба в сторону! Он может и на лыжу наступить, и палку в кольцо вставить, лишь бы вырвать победу. А если он впереди, и попытаешься его обогнать, ни за что не даст обойти. В каждом пустяке — он боец. Бегает Анатолий всегда с открытой головой. Голос хриплый. Охрип он в звёздном пробеге, шёл в команде и на последнем этапе Ярославль — Москва простудился. С тех пор в голосе у него осталась постоянная хрипотца.

В игре в хоккей у него такая же напористость. Дерётся не на жизнь, а на смерть, не щадя ни головы, ни ног, ни своих, ни чужих… Все в рукавицах, а он клюшку в голых руках держит, — по две недели потом на руках следы заживают… А уж в небе — и не говори! Однажды на Дальнем Востоке схватились они с одним истребителем… Тот тоже напористый. Бились, бились, уже до самой земли дошли и где-то за сопками скрылись. Сели оба в двадцати километрах от аэродрома прямо на снег, но так друг другу и не уступили.

Какие развлечения любит? Танцы. Танцевать он готов хоть до утра. Танцует по-своему, размашисто, того и гляди, на ногу наступит. Все сторонятся. Да и походка у него развалистая, вроде, как у моряка… Повеселиться любит, недаром ему и кличку дали

— «весельчак». Так и норовит в свободную минуту куда-нибудь поехать, в кино, в театр…

Но случаются моменты, когда надо посидеть за столом, за картой, за книгой. По складу характера — трудно ему, но сидит, корпит, особенно если дело касается соревнования. Его звено во всём должно быть первым!

Со своими питомцами он занимается с утра до вечера. Летают много. Его ученики — Смирнов, Тарасюк и Кожевников. Он называет их «пинавтами». «Ну, мои пинавты летали сегодня, как звери!»

А то вдруг прибежит: «Ребята, дайте Ленина!» Возьмёт книгу, сядет за стол, сосредоточится. Читает быстро, но всё схватывает с первого прочтения. Удивительная память! По теоретическим предметам всегда отвечает хорошо. Особенно если это касается непосредственно техники полёта. Недавно проходили мы теорию «штопора», я этот вопрос знал глубоко, проходил в академии. Рассказал ему, и он сразу всё понял, хотя там не так-то просто разобраться неподготовленному человеку…

Над нами, над березами, в небесной синеве кто-то артистически выписывал фигуры высшего пилотажа. Нужно иметь здоровое сердце, чтобы выдерживать такие перегрузки! Вот самолёт, вырастая на глазах, мчится к земле и, развивая бешеную скорость, с воем уходит в небо, крутясь по вертикали вокруг своей оси.

Пролетев с полминуты в перевёрнутом положении, пилот снова бросает машину в пике, с гулом проносится над рощей и снова уходит к облакам, оставляя за собой кружевную стёжку дыма.

Мы с восхищением наблюдаем за этим вдохновенным полётом.

— Знакомый почерк, — с улыбкой определяет Таракановский.

И я догадываюсь — Серов…

События в Испании застали Серова на работе лётчика-испытателя НИИ.

Испания. Кто из нас в те годы не мечтал попасть туда! Рапорт за рапортом подает Анатолий с просьбой отпустить его добровольцем в республиканскую авиацию. И наконец желание удовлетворено!

Испанский теплоход рассекает острой грудью прозрачную аквамариновую волну Средиземного моря. Вместе с Серовым в Испанию направляются ещё несколько добровольцев. Думы их устремлены туда, где над горными кряжами Гвадаррамы сражаются с фашистскими наёмниками испанские патриоты.

Силы неравны: на один республиканский самолёт приходится дюжина фашистских.

По пути теплоход застигает шторм. Могучие волны высоко вздымают нагруженный корабль и яростно бросают его в хмурые водяные ущелья грозного моря. Серов и его друзья помогают команде теплохода. Огромная многотонная волна накрывает лётчика Бориса Смирнова, сбивает его с ног и волочит по палубе за борт. Анатолий, рискуя жизнью, успевает схватить друга и удержать его над кипящей бездной. Надо было удивляться могучей силе молодого уральца. В этом поступке ещё раз подтвердилось святое правило советских лётчиков о взаимной товарищеской выручке.

На испанском берегу они встречаются с другой группой добровольцев, прибывших сюда кружным путем. Среди них и Михаил Якушин, смелый истребитель.

Автобус мчит их по извилистым горным дорогам, они спешат на аэродром, чтобы увидеть самолёты, на которых им придётся воевать.

На голой, открытой площадке в два ряда стоят истребители. Бипланы и монопланы. По внешнему виду всем понравились больше монопланы — с широкими короткими крыльями, они чем-то напоминали злых мошек. Их так и называли здесь — «мошки».

Испанские лётчики ведут гостей мимо машин с некоторым смущением: уж очень они залётаны, в заплатах. Машины побывали уже во многих боях. Все отдают предпочтение монопланам, они имеют большую скорость. Но на всех «мошек» не хватает. И Серов первым просит закрепить за ним биплан. Конечно, скорость у него меньше, чем у «мошки», но зато он маневренней. А в бою это немаловажное обстоятельство. У биплана крутолобая, несколько укороченная моторная часть, и испанцы прозвали его «чато» — курносый.

Вместе с Серовым изъявляет желание летать на «курносом» и Михаил Якушин. По виду этот худощавый молодой человек в штатской одежде похож больше на какого-нибудь студента или поэта-лирика, чем на отважного воздушного бойца, не раз сбивавшего в подоблачных поединках опытных фашистских асов.

Серов снят на улице Мадрида. Сзади — каменный лев, символизирующий непобедимый народ Испании. Анатолий в расстёгнутой куртке, с папиросой.

По нескольку раз в день Серов со своими друзьями поднимается в воздух. Фашисты уже познакомились с ними. Отведав по зубам от республиканских лётчиков, немецкие и итальянские бомбардировщики быстро переменили тактику, —

базируясь на аэродромах Севильи и Саламанки, они стали совершать налёты на Мадрид и республиканские аэродромы только по ночам. Днём они уже не осмеливались показываться в небе. Зенитной артиллерии у республиканцев почти не было, и эти пиратские налеты доставляли большие страдания мирному населению.

Серов первым задумался над этой «ночной» проблемой. Севилья! Это красивое певучее название он слышал только в испанских романсах…

— А почему бы нам не попробовать летать ночью? — предложил он Якушину. — Мы дома кое-какой опыт получили в этом деле.

Якушин сразу отозвался на предложение друга. Подобрались ещё двое — Рыбкин и Антонов.

Не сразу получили они «добро». Некоторые сомневались в разумности этой затеи: «Небо большое, ищи иголку в стоге сена». Не было ни прожекторов, ни службы наведения. Но напористый Серов наступал, доказывал:

— Дайте нам попробовать, и вы увидите, кто прав!

Их поддержали командующий и комиссар истребительной авиации. Правда, от дневных полётов их не освободили, ночное патрулирование они организовали по собственной инициативе. Свои «чато» они теперь осматривали особенно внимательно — случись ночью в воздухе неполадка, им на скалах грозила верная гибель.

Что руководило ими, русскими лётчиками, которые вдалеке от Родины шли, рискуя жизнью, на опасность, на битвы, на грозные схватки с вооружённым противником в чужом для них далёком небе? С этим вопросом не раз обращались к ним простые люди Испании — земледельцы, виноградари, рабочие. Серов и Якушин только улыбались в ответ, дружелюбно обнимая собеседников за плечи.

О чём думал Серов, лежа в траве перед первым ночным полётом и глядя в густо-синее с крупными низкими звёздами испанское небо? Вспоминал ли свой родной заснеженный Урал, или родных и близких?

В неясных сумерках ночи возник силуэт Якушина.

— Готов?

— Айда!

Так необычно слышать здесь, на испанской земле, это русское «айда».

Айда! И вот уже два «чато», два «курносых», в неверном мерцании звёзд срываются со старта, уходят в ночь.

Они летают по очереди, неся дежурство над крышами мирных

домов, над полями и виноградниками, над всей истерзанной испанской землёй. Это очень трудно — вести неустанные воздушные бои с превосходящими силами противника днем, и после этого, почти не отдыхая, снова поднимать машину в ночное небо. Ни радиостанций, ни службы наведения, всматривайся в глухой мрак воспалёнными глазами, ищи, где тут может повстречаться «Юнкерс», вражеский бомбардировщик, отлично защищённый от пуль.

Прошло уже несколько ночей, как они затеяли свое добровольное дежурство, а результатов всё не было. Не каждому под силу выдержать такие перегрузки. Вскоре они остались вдвоём с Якушиным.

Как ни странно, но неудачи ещё больше подзадорили Серова и Якушина, в этом они сходились характерами — в настойчивости, в своём нетерпеливом стремлении к схватке, к победе.

В соседстве шумного и энергичного Серова Якушин мог неопытному глазу показаться тихим и смирным человеком. На самом деле это была горячая, беспокойная душа, пылкая, бесстрашная, но внешне сдержанная и невозмутимая. Они с Серовым понимали друг друга без слов, и оба жаждали ночных поединков с грозным противником.

И вот наконец пришла та долгожданная ночь!

— Айда!

И два «чато», взвихрив за собою столбы пыли, в который раз уходят в звёздную мглу. Для верности они поделили высоты: Серов остался на двух тысячах метров, Якушин поднялся на три.

Сильно вызвездило. Анатолий вглядывается в ночную мглу, ожидая противника. Не видно. Зыбки и обманчивы ночные пейзажи Испании. Внизу — полная тьма, но он знает — там скалы и ущелья. Даже днём непросто ориентироваться в гористой местности.

Досадно, что немцы не летят.

Якушин, набрав высоту, первым увидел проплывшее на фоне звёзд тёмное драконье тело вражеского бомбардировщика. Он подошёл к нему справа и ударил из пулеметов. Сразу возник пожар. Охваченный пламенем, фашистский бомбардировщик косо повалился вниз. Серов видел, как самолёт ударился о землю и взорвался.

«Молодец, Миша! Но где же он сам?»

Развернувшись, Анатолий помчался в сторону своего аэродрома: отсутствие Якушина вызывало тревогу.

Проводив до самой земли горящий бомбардировщик, Якушин вернулся на аэродром позже Серова. Прямо с крыла он попал в

могучие объятия друга.

Оба были счастливы оттого, что сумели доказать правильность своего плана.

— А все-таки можно фашистов сбивать и ночью!

Весть об этом событии облетела весь фронт. Утром позвонили из Мадрида, и героев первого ночного боя вызвали в штаб Главного командования. Их доставили туда с почётом, на правительственной машине, в сопровождении эскорта мотоциклистов.

Лётчиков встретил военный министр Идалеско Приэто, грузный, полный, небольшого роста человек, с круглой, коротко стриженной головой. В кабинете находился и командующий республиканской авиацией генерал Игнасио Идальго де Сиснерос, единственный кадровый генерал старой королевской армии, представитель древнего рода испанских грандов, перешедший на сторону народа.

Министр и командующий поздравили героев с важной победой.

В те годы не принято было награждать орденами, и лётчики за подвиги в воздушных боях премировались деньгами. Но русские отказались от денег: они приехали в Испанию сражаться не ради наживы, а по велению сердца. Они коммунисты.

В награду от испанского правительства они получили именные золотые часы. Якушин — за совершенный подвиг, Серов — как инициатор и командир ночного патруля.

Родриго Матэо (к этому времени у них появились новые, испанские имена: Серова прозвали Родриго Матэо, Якушина — Карлос Костехона) был глубоко огорчён тем, что он ещё не сбил ночью ни одного вражеского бомбардировщика.

— Лиха беда — начало! — успокаивал Якушин друга.

На следующую ночь на три тысячи уже пошёл Серов.

— Сперва мы летали только над своим аэродромом, — рассказывал он мне об этих первых ночных операциях. — Как только фашисты начинают сбрасывать бомбы, мы взлетаем. Они бомбили, а мы в это время с воздуха следили, откуда сыпались бомбы: они ложились по земле огненными вспышками. Это было очень трудно — разыскать в темноте вражеский самолёт.

Наконец, повезло и мне. Лечу, и вдруг вижу лунный отблеск на крыле чужого самолёта. Подлетаю ближе. «Юнкерс»! Открываю огонь. Фашисты стали отстреливаться. Но я шёл немного ниже, и меня не было видно. Подобрался я к ним справа и метров с тридцати снизу как рубану из всех пулеметов одновременно, прямо в бензобак. Показался огонёк. Теперь это была

великолепная мишень. Дал ещё очередь: «Юнкере» вспыхнул. Объятый пламенем, он рухнул на землю. Только отошёл я от этого места, опять бомбят. Второй бомбардировщик! Погнался я за ним, долго его преследовал над территорией противника. Обстрелял, а уже луна заходить стала. И бензин на исходе. Двадцать килограммов осталось. Что делать?.. В бою астрономической ориентировкой некогда заниматься. Лечу обратно, смотрю на землю. Держу луну с правой стороны. Увидел дорогу. Кончился весь бензин» Смотрю — площадка. Возле площадки — пожар после фашистского налёта. Значит, думаю, наша территория. Откинул борт, пошёл на посадку. Стукнулся. Сел. И покатился вниз. Затормозил метрах в пятнадцати от обрыва. Машина цела. Вдруг меня взяло сомнение: на своей ли территории я сел?.. Думаю, отойду в сторонку, если услышу «камарада» — значит, наши, если «сеньор офицер» — значит, фашисты. Прошел в темноте с полкилометра. Слышу голоса. Остановился. Прислушался. Спрашиваю:

— Камарада республиканес?

В ответ щелкнули затворы — и полное молчание.

Опускаю руку на «тете», мы специально урезали кобуры, чтобы пистолет сразу можно было вырвать. Помолчал и снова кричу:

— Товарищи республиканцы?

— Си!

Свои! Сразу отлегло от сердца. Обрадовался страшно.

— Где ваш штаб?

У меня коробка хороших папирос с собой была, закурили. Я позвонил по телефону в штаб авиации. Там, оказывается, меня уже считали погибшим.

На другой день нас снова вызвали в штаб.

Спасшийся на парашюте немецкий офицер просил показать ему лётчика, сбившего его в ночном бою.

Одетый, как обычно одевались республиканские лётчики, в кожаную короткую куртку на «молнии» — касадора, в лакированных туфлях (которые лётчики предпочитали носить из-за большого удобства — достаточно было притопнуть ногой, как с них сразу слетала серая аэродромная пыль), Анатолий, несмотря на свои широкие плечи, производил впечатление юноши. Войдя в комнату вразвалку и держа руки за спиной, он остановился у двери. Офицер, допрашивавший немца, представил:

— Вот лётчик, сбивший ваш «Юнкерс»!

Немец вскочил, пристукнул каблуками и, выдавив на лице подобие улыбки, полупротянул было руку, надеясь на пожатие. Но Серов не посчитал нужным ответить на жалкий жест ночного

пирата, повернулся и вышел из комнаты.

Ночные удары республиканских истребителей быстро отрезвили фашистов. Пыл их заметно поубавился.

На снимке Анатолий со своими друзьями у одного из сбитых вражеских самолётов.

Погиб один из близких друзей Серова, лётчик Финн. Хоронили его поздно, уже смеркалось. По дороге к кладбищу двигалась печальная процессия. Неожиданно над толпой испанцев, откуда-то из темноты, подавляя звуки оркестра, с грозным рёвом вырвался истребитель, резко взмыв над гробом, он ушёл в небо в восходящем штопоре, стреляя одновременно из всех пулеметов. Феерическим карусельным вихрем уносились в вечернюю мглу светящиеся трассы пуль — это Серов отдавал погибшему другу свой прощальный салют.

Московский вечер полон звёзд. У дверей Клуба актеров, в Пименовском, стоит серовская машина. Он с товарищами отмечает своё возвращение на Родину. Кроме самых близких друзей, никто не знает о его подвигах.

Рассказать об этом пока не представляется возможным. Но народ должен знать своих героев…

Всю ночь мучительно ломаю голову, и, наконец, план репортажа придуман.

Родриго Матэо — так называли Серова в Испании его друзья. Что ж, в таком случае устроим им «свидание» — Серову с Матэо.

Пусть они «побеседуют» друг с другом.

Вот он, отрывок из записанного мной репортажа тех лет!

«— Хочешь, поедем со мной к одному лётчику, — приглашает Серов. — Он приехал к нам в Союз на хирургическую операцию. У него повреждена нога. Его зовут Родриго Матэо. Это прославленный лётчик республиканской Испании. Ночной лётчик.

— С удовольствием.

Машина мчится по улице. Серов молча сидит за рулем.

Я предполагал увидеть бледного, измождённого человека, — на подушке лежал здоровый парень с мужественным загаром лица, чем-то похожий на Серова. Левая его нога была забинтована.

Я попросил испанца рассказать несколько эпизодов из его боевой практики.

— Моя специальность — ночные полёты. «Ночной коршун Испании» — называют меня на родине. У нас каждый лётчик имеет какое-нибудь прозвище…

Первый из запомнившихся мне эпизодов произошёл в прошлом году. В то время индивидуальные действия не практиковались. Мы работали группой. Фашисты боятся, когда мы идём на них строем. Но когда эскадрилья расстроена, они немедленно бросаются в атаку.

Шли мы строем. Оглядываюсь я и вижу: в воздухе полный «римский беспорядок». Никакой части, никого нет. Оказывается, фашисты хитро напали на нас с тыла. Я покачал крыльями, смотрю — слева встал один мой товарищ, справа — второй! Оглянулся назад, а у каждого на хвосте сидит «приятель». Я быстро произвёл маневр и вижу: один из моих друзей уже горит, второй — камнем падает вниз. Я остался один, окружённый тринадцатью фашистскими истребителями. Они наседали со всех сторон, некуда было податься. «Каюк, — подумалось мне, — однако задёшево я не продам свою жизнь, гады!»

Я стал маневрировать, вправо, влево, ускользая от них. Надо было удирать. Мой инструктор учил, что из боя всегда нужно выходить кверху на вираже. А моя машина не берёт такого угла. Пришлось уходить на пикировании. За мной следом бросилась четвёрка.

Тут снизу наша зенитка открыла сильный огонь. И они оторвались.

Одного нашего сожгли.

Из этого вывод: если испугался и уходишь без боя, тогда каюк. А не потерялся, ответил на удар ударом — есть шанс остаться живым…

Я наблюдал за Серовым — его лицо было возбуждено, на щёках играли розовые пятна, он живо переживал все события боя.

Матэо просит воды.

— Эпизодов было много… Вот был один красивый момент. Фашистский аэродром находился от нас в сорока километрах. Наша разведка донесла, что на аэродроме находится восемьдесят три самолёта. Я решил захватить их врасплох. Мы взлетели на рассвете. Легли на курс. Домчались быстро. Наше появление было настолько неожиданным, что мы даже захватили на земле готовых к вылету истребителей. Первым я поджёг трехмоторный «Юнкерс». Вслед запылали и другие машины. Мы сделали несколько заходов. Ушли домой благополучно, не потеряв ни одного.

Франко потом на себе волосы рвал. Говорят, расстрелял за это половину руководящего состава.

Серов расспрашивал испанца о самых мельчайших подробностях, восхищаясь мужеством и находчивостью республиканских лётчиков.

В палате зажгли свет. На прощание Матэо рассказал нам ещё один небольшой эпизод.

— Намереваясь отплатить за свои потери, фашисты бросили на наш аэродром группу скоростных бомбардировщиков в сопровождении истребителей. Мы давно поджидали их и успели заблаговременно подняться в воздух. Фашисты шли двумя группами. Я решил атаковать большую. Когда подошёл к ним метров на семьсот, оглянулся — двух моих эскадрилий нет, они уже ввязались в бой со второй группой. Против нашей оставшейся эскадрильи было десять бомбардировщиков и сорок истребителей! Мы с лёту врезались в их строй. Бомбардировщики бросились наутёк, сбрасывая бомбы куда попало. Охранение истребителей ринулось в атаку. Десять против сорока. Гляжу, один из наших пикирует к земле, а к его хвосту присосался фашист и строчит из пулеметов. Бросаюсь к товарищу на выручку. Открываю полный огонь. Подбив машину, фашист хотел было уйти с боевым разворотом, тут я его и настиг. И ухлопал. А наш парень выпрыгнул с парашютом. Четыре фашистских истребителя бросились к нему и расстреляли в воздухе. В живот более десятка пуль всадили. Тут же следом я настиг палачей и отомстил за погибшего товарища. Я уничтожил трёх его убийц. Последний, четвёртый, пытался удрать. У него была пробита водяная система: пар клубом валил из машины. Он хотел было уйти в облака — я как дал из всех четырёх сразу, он испугался и развернул прямо на меня. Тут я его и поймал на длинную очередь. И завалил… Своему обязательно надо помочь, — закончил свой рассказ Матэо, — даже если сам находишься в опасности. Есть взаимная выручка — никакой враг не страшен!

Анатолий дружески жмёт руку Родриго. Как удивительно они похожи друг на друга! Несомненно, профессия накладывает на человека свой отпечаток: оба они — и Серов и Родриго Матэо — рослые, смелые, синеглазые. И как прекрасно это рукопожатие двух рыцарей воздуха, двух героев, благородных бойцов за освобождение человечества!»

В последний раз с Серовым мы встретились в Клубе актеров, уже на Пушкинской площади, на банкете с героями Испании. Он рассказывал о подготовке Полины Осипенко к дальнему беспосадочному перелету. Он тренировал её.

Я проводил его до машины. Анатолий Константинович бережно вёл под руку свою беременную жену.

— Жду сына, — похвалился он на прощание. — Скоро будет у меня сын. Приезжай с ним знакомиться!

…Вот что вспоминается мне всякий раз, когда я поднимаюсь по бульвару от площади Ногина к Ильинским воротам и читаю

название улицы: *«Проезд Серова»*.

Николай Евдокимов

Возле огромного самолёта в тёплых меховых комбинезонах стоят два лётчика: Дацко и Николай Евдокимов. Светлоголовый улыбающийся Евдокимов держит в руках шлем.

Ещё совсем недавно в науке существовало мнение, что у человека после двухсот метров падения обязательно наступит смерть в воздухе.

Первым опрокинул эту теорию комсомолец Николай Евдокимов. Врачи предупреждали его: говорили о шоке сердца, потере сознания в воздухе, — отговаривали, но Евдокимов был твёрд в своём убеждении, его молодая любознательность не останавливалась перед риском.

— Правда, сомнения врачей заставили меня немного понервничать, но я решил не сдаваться, — рассказывает он. — Врачи давали массу советов: и не увлекаться, и кольцо тянуть немедленно, как только почувствую себя плохо, а кто-то в последний раз и вообще рекомендовал отказаться от этого рискованного эксперимента.

Полетели. На высоте тысяча двести метров я вылез на крыло. Вылез и посмотрел вниз: под крылом кусок моря, берег, кривые улочки, а дальше — тёмная степь… Я прыгнул. Сразу же инстинктивно потянулся к кольцу, но сдержался и впервые полетел вниз, не задерживаясь, кувыркаясь через голову и смешно перебирая ногами. Я набирал скорость, в ушах усиливалось шипение, перед глазами ритмично пролетали море, город, степь, море, город, степь… Я дышал часто и сильно и ничего плохого не чувствовал. Всю дорогу я мысленно твердил: «Ещё, ещё!»

Меня напугала земля. Она выросла сразу, надвигаясь сначала медленно, а затем, когда я присмотрелся, понеслась на меня с грозной быстротой… Я рванул кольцо — парашют раскрылся мгновенно. Сильно тряхнуло. В глазах запрыгали разноцветные огоньки: синие, красные, белые… Я пролетел около шестисот метров — и не умер! Я был счастлив от того, что жив и что сумел опровергнуть ложную теорию. На земле меня встретили врачи, они сразу стали считать пульс, прокололи палец и выдавили несколько капель крови. Я напрасно уверял их, что дышал, и очень даже здорово, — они сомневались в этом. А я нет…

Евдокимов воспитан комсомолом. Сын рабочего, он провёл свое детство на торфоразработках. Когда в небе слышалось упругое урчание самолёта, Николай, тогда ещё застенчивый подросток, вылезал из торфяного карьера и смотрел вверх. Он

был самолюбив, этот белобрысый паренек, и страшно боялся насмешек товарищей. А товарищи знали его больное место, его заветную и призрачную мечту.

— Лез бы в карьер, тоже ле-етчик! — выводил его из столбняка бригадир Иван Харитоныч.

Старик произносил эту фразу с добродушной иронией: он-то как раз отлично знал о мечте паренька. Николай тяжело вздыхал и скрывался в яме.

В семнадцать лет о многом мечтаешь! Юношу тянуло к небу, в его представлении лётчики были прекрасными, смелыми, какими-то необыкновенными, полубогами. Он ещё ни разу в жизни не видел живого лётчика.

Но вот однажды ему повезло: недалеко от торфоразработок, на опушке леса, спустился самолёт. Бросив лопату, Николай помчался через поле к месту посадки. Машина со сломанными крыльями и отлетевшим хвостом лежала на спине. Толпа рабочих молчаливо разглядывала пилота в синем комбинезоне. Ничего необыкновенного! Маленького роста, тщедушный человек. Пилот!.. С этого момента Николай уже твёрдо знал, что он-то наверняка будет летать.

Вскоре он получил в райкоме комсомола путёвку в школу лётчиков. Правда, ему ещё не было полных восемнадцати лет, но Иван Харитоныч сходил в сельсовет и добыл удостоверение, в котором значилось, что предъявитель сего — человек совершеннолетний. Он похлопал Николая по плечу и сказал:

— Кому ж и летать, как не нам, рабочим!

Вечером старик провожал его на поезд. Николай стоял на ступеньках вагона. Поезд тронулся, и Харитоныч торопливо стал кричать:

— Храбрей держись там! Не забывай старика!

— Спасибо, дорогой Харитоныч!..

Первый этап обучения оставил в сознании Николая глубокий след: он понял, что полёт — это не просто красивая романтика, а большое, ответственное дело, требующее упорного труда.

Первый раз он полетел утром в сырой февральский день. В воздухе инструктор приказал ему взять управление. Руки инструктора легли на борт. Николай даже испугался — из головы сразу вылетели все его теоретические познания по авиации. Надо было вести машину. Не успел он взяться за управление — самолёт накренился и развернулся в обратную сторону. Николай сразу вспотел. Машина не слушалась: она ныряла носом, задиралась вверх, к облакам, кренилась то влево, то вправо. Он не видел ни земли, ни неба, весь сосредоточившись на управлении.

Когда самолёт мягко коснулся лыжами снега, инструктор спросил:

— Что-нибудь поняли?

И Николай чистосердечно признался:

— Ничего.

Так началось овладение машиной.

Запомнился ему день, когда он впервые вылетел самостоятельно на одноместном истребителе. Ознакомив его с приборами и управлением машины, командир звена кратко посоветовал:

— Ногами крепче держите, она на взлете вертится, как балерина.

Непривычно быстро взлетел он к облакам. Самолёт удивил его чуткостью к рулям, быстротой ответов на его действия.

В истребительную авиацию выпускались самые смелые, предприимчивые и отважные ученики. Лётчику-истребителю придётся в будущем вести воздушный бой один на один, его сила в мастерстве пилотажа.

Школу он закончил истребителем.

— Наконец наступило время, — вспоминал впоследствии Евдокимов, — когда я на правах равного вошёл в лётную семью строевой части. Я пересёк страну с юга на север и прибыл на аэродром, где протекала моя дальнейшая служба.

Много с тех пор было разных приключений в жизни Николая.

Однажды на взлёте идущий впереди самолёт развернулся поперёк линии его полёта. Ещё миг — и столкновение было бы неизбежным! Взлёт производился строем: сзади напирали другие самолёты. Чтобы не убить товарища и спасти машину, Николай рванулся вверх, перескочил через передний самолёт и повис в воздухе без скорости — почти вертикально, хвостом к земле, мотором к небу. Машина перевернулась вверх колесами. Шестьдесят метров высоты — это слишком мало для выхода на прямую. Но он думал лишь о том, как бы не натолкнуться на товарища. Он даже не испугался, успев выключить мотор и на случай пожара перекрыть бензин.

Самолёт врезался в землю крылом. Привязные ремни оборвались, Николай ударился головой о приборы, больше он ничего не помнил…

Очнулся он лишь на другой день. Лицо забинтовано, во рту и на месте носа ощущалась пустота, правая нога была обложена подушками. Доктор, большой шутник, уверял Николая, что ничего страшного не произошло:

— Так, ерунда… Выбиты зубы… Проломлена голова… Нос слегка раздроблен. Ну и нога ещё немного. Одним словом,

пустяки, летать будете!..

Через три месяца, прихрамывая, Николай пришёл на аэродром. Ему вручили путёвку на курорт и выписку из приказа, где за находчивость и блестящий выход из трудного положения, за проявленную личную самоотверженность ему была объявлена благодарность командования. Уезжая на курорт, Николай послал лечившему хирургу письмо с выражением признательности за отлично отремонтированный нос, «который стал по форме даже лучше, чем был…»

Вскоре Евдокимов начинает увлекаться парашютным спортом. Дело это тогда было ещё незнакомое, многих пугало, но он смело взялся за новую специальность и после одиннадцати прыжков получил звание инструктора. Николая уже не удовлетворяли обыкновенные прыжки. Подготовляя своих товарищей, он сам непрерывно занимается различными экспериментами: прыгает с мёртвой петли, со штопора, с виража — с самых разнообразных положений самолёта. Его прыжки представляли высокий научный интерес.

Знойное утро июля дышит предгрозьем. Сегодня Евдокимов готовится к рекордному прыжку с восьми тысяч метров. Баллоны наполнены кислородом. Идёт последняя проверка снаряжения. Самолёт поведёт на высоту близкий друг Евдокимова, лётчик Владимир Дацко. Он торопит — небо затягивается грозовыми облаками.

Перед полётом техник и моторист с двух сторон окатывают Николая холодной водой из вёдер, сопровождая купание весёлыми прибаутками. Он насухо обтирается полотенцем и облачается в меховой комбинезон: температура на высоте до тридцати градусов мороза.

Сердечное пожатие рук, и люк закрывается. Николай остаётся в тёмной кабине один. Он сидит на специально подвешенной к потолку брезентовой лямке. Самолёт отрывается от земли и крутой спиралью уходит ввысь, скрываясь за облаками. Они угрожающе клубятся, стягиваясь над лесом. На земле с нетерпением ждут Евдокимова.

Время тянется мучительно медленно. Наконец самолёт с Дацко возвращается на аэродром. Все бросаются к нему навстречу. Евдокимов покинул самолёт на высоте восемь тысяч сто метров. Но где же он? Сведений на старт о его приземлении до сих пор не поступало. Неужели произошло несчастье? Всех охватило волнение. На запросы по телефонам неожиданно получили тревожный ответ: из облака упал какой-то комок. Шёл

до земли на большой скорости…

Немедленно на розыски в разных направлениях было брошено несколько самолётов. На одном из них вылетел и я. Никогда не забыть той страшной грозы, вставшей чёрной преградой на пути. Дождь низвергался на землю сплошной, казалось, непробиваемой стеной. Где-то совсем рядом пронзали темень ослепляющие зигзаги зелёных молний, грохотал гром, и чем яростнее неистовствовала погода, тем глубже закрадывалась в сердце тревога о судьбе Николая.

Не меньше часа метались мы над железнодорожной веткой в узком облачном коридоре, и какой-то напуганный начальник станции предупредительно отмахивался красным флажком каждый раз, когда самолёт пролетал над его головой.

С трудом удалось прорваться к реке и на бреющем полёте возвратиться на аэродром.

Евдокимов был уже дома!

Лежим на траве, позади ангара. Николай рассказывает: — К рекордному прыжку я начал готовиться ещё в марте. Тренировка началась в апреле. За это время я прошёл специальное испытание в барокамере, где определился мой «потолок».

Поднимаясь на высоту, я всю дорогу работал с приборами; каждые пятьсот метров измерял температуру, вёл записи. Волновался ли? Нет. Вспоминал сына. Ему два года. Телефона на самолёте не было: разговаривали с Дацко записками и световыми сигналами.

В воздухе получаю записку: «Аэродром затянут облаками. Постараюсь рассчитать». Дацко побаивался, чтобы меня не отнесло в озеро. Неожиданно я почувствовал головокружение. Почему-то перестал поступать кислород. Быстро прощупываю шланг, соединяющий маску с баллоном кислорода, и обнаруживаю перелом: от резкого движения трубка переломилась. Зажал перелом пальцами. Температура — минус двадцать девять.

Записка: «Приготовься, скоро буду давать сигналы». Сигнал — белая лампочка: «Переодеть маски». Отвечаю тем же сигналом: «Надеваю».

Второй сигнал — красный: «Приготовиться к прыжку».

«Готов!»

Третий — обе лампочки вместе: «Прыгай!»

Я уже стоял над люком на коленях. Отверстие люка широкое (я, например, даже не зацепившись, прошёл в него с обоими парашютами). Левая рука занята трубкой. Держался одной правой. Пожалуй, это был самый неприятный момент.

Был ли страх? Нет, не было. Некоторое напряжение и, пожалуй, самоуспокоение. Засекаю секундомер и бросаюсь вниз. Струёй от пропеллера меня моментально перевернуло вниз головой. Первое ощущение — страшный холод. Затем мысль — бороться со штопором. От непроизвольного движения руки или ноги, создающего добавочное сопротивление, меня начинает крутить штопором. На высоте пяти тысяч метров ударился в паутину первого слоя облаков.

Пел ли я? Петь начал с пяти тысяч метров. Но получалось не пение — сплошной вой: орал, чтобы уравновесить давление на барабанные перепонки.

Внизу второй ярус облаков. Земли не видно. Кругом сплошное солнце. Удивительное состояние: одиночество, падение, мотание — струи то оттуда, то отсюда, уходящие и приближающиеся облака. Как во сне. Опять начался штопор. Метров четыреста вертело. Второй ярус облаков оказался на высоте четырёх тысяч метров. Ворвался в него с таким ощущением, будто попал головой в кислое молоко. В облаках трудно установить положение тела. Маска налезает на очки. Стекла запотели. Снимаю очки и маску. Падаю без кислородного прибора. Все нормально: никакого удушья не испытываю.

Второй ярус показался неприятно длительным. Толщина облачности — метров пятьсот. В облаках падал беспорядочно. Слежу за секундомером, наблюдаю за собой. Несмотря на проводимую в воздухе работу, безостановочно кричу, но голоса своего не слышу. Внизу опять облака — третий слой.

Выскочил из третьего яруса — опять не вижу земли. Что за чёрт! Подо мной грозовые тучи. Я пробиваю хвост огромного облака, центр которого стоял как раз над аэродромом. Слежу за секундомером. Стрелка подошла к ста сорока. Пора! Низ облака — на высоте шестисот метров. Выскочил из него: земля! Характерный изгиб реки, жёлтое поле. Вот уж где обрадовался!

Взялся за кольцо. Перед рывком закрыл глаза. Нажал секундомер, рванул за кольцо— удар!.. Сразу взгляд вверх — цел ли купол? Потемнения в глазах не было: сказалась тренировка. Тут же принимаю ещё один толчок — о землю. Ударился о край межи, перевернулся в воздухе, сделал полное сальто.

Первое ощущение — необычайная тишина. В теле слабость. Вяло отстегиваю карабины привязной системы.

Недалеко работали колхозники. Что такое: гром, тучи, и из тучи кто-то опускается на пузыре?!

Первым прибежал дед-огородник. Сразу предложил махорки. Закурили мы с ним.

«Откуда это вы?»

«С неба. С восьми тысяч…»

«Ох-ти, а мы ведь тебя знаем. Слыхали!»

Колхозники проявили ко мне большое участие. Я опустился в районе аэродрома, но в деревне телефона не было. Между аэродромом и колхозом — болото и лес. Пришлось объезжать. Дорога корявая, ехали два с половиной часа.

Парашют я раскрыл в двухстах метрах от земли. Падал свободно сто сорок две секунды… Вот и всё! Мировой рекорд. Даже начальник политотдела, строгий судья всех моих прыжков, и тот сказал при встрече:

«Поздравляю. Не плохо».

На прощанье Евдокимов дарит мне свои очки — одно стекло выбито.

— В этих очках я совершил большинство своих рекордных прыжков. Стекло потерял в последнем — с восьми тысяч.

Сердечно жму руку товарища, у которого такое смелое сердце…

Валерий Чкалов

Многих хороших лётчиков знавал я, но один превосходил всех по мастерству и отваге. Это был Валерий Павлович Чкалов.

В те годы я служил на Дону в авиации.

С лётчиком Анатолием Виноградовым нас командировали в Москву принять с завода и опробовать в воздухе двадцать новых самолётов для нашей эскадрильи. В Москве мне предложили провести радиорепортаж авиационного праздника.

— Будет участвовать Чкалов.

Имя Чкалова было уже широко известно в лётных кругах, о нем ходило множество рассказов и небылиц. Накануне праздника я поехал на завод познакомиться с прославленным лётчиком лично.

У заводского ангара стоял широкоплечий, большелобый человек с суровым, обветренным лицом. У него были внимательные синие глаза.

— Чкалов. Испытатель лётной станции, — представился он низким баском, ударяя по-волжски на «о».

Вначале Чкалов производил впечатление неповоротливого, медлительного увальня, но это впечатление обманчиво: достаточно было немного поговорить с ним, чтобы определить в нём тонкого и умного собеседника с широким мышлением и смелой фантазией.

Я напомнил о том, как он когда-то пролетел на самолёте под Троицким мостом.

— Было такое дело.

— И не боялись зацепиться крылом?

— Не боялся. Я так чувствую сам габариты крыльев, что никогда не зацеплюсь. Так же, как каждый человек свои расправленные руки.

Испытатели — народ смелый, но и осторожный. И это естественно: одна ошибка — и дорогая машина разбита…

Я исподволь наблюдал за Чкаловым и думал: как ярко и властно запечатлелись в нём лучшие черты человеческого характера — воля, отвага, трудолюбие, настойчивость. Какой у него красивый открытый лоб и смелые орлиные глаза!

Но Чкалов был не только смелым лётчиком. Талантливый самородок, он стремился к знаниям, любил науку, искусство, литературу. Это расширяло его кругозор, помогало в труде.

— Моя жизнь не была прямолинейной, — говорил Чкалов. — Налетав сотни часов, я заскучал. Я совершал порой слишком рискованные полёты, любил выделывать фигуры на

непозволительной высоте, у самой земли. Тяжело переживал я свои порывы… И лишь впоследствии, на работе лётчика-испытателя, я нашёл самого себя. Я и теперь не останавливаюсь перед риском, но это уже риск другого порядка. В работе применяешь теперь все достижения современной науки… Да, кроме того, я заветное слово знаю… — добавил он улыбаясь.

— А что это за слово такое? — полюбопытствовал я.

И Чкалов вспомнил о своём детстве, об отце, о старом кузнеце Ермолае, о своих первых полётах и о многом другом, интересном.

С той памятной встречи я и стал вести свои записи о Чкалове.

К личным наблюдениям добавились воспоминания родных и близких Валерия Павловича, его жены Ольги Эразмовны, рассказы Байдукова и Белякова, товарищей его детства и юности. Были изучены многие документы и письма.

Всё это и получило свое отражение в рассказах.

Юность героя

Всё было, как уговорились. Свидетели стояли на откосе. Тройка удалых коней, выпуская из ноздрей прямые розовые струи пара, ожидала на дороге, нетерпеливо встряхивая бубенцами.

Одетая в снежную шубу, празднично сияла на февральском солнце уходящая в серебристую морозную даль широкая Волга. Отлакированная полозьями дорога, петляя по горе, уходила вниз.

Яшка, нахально ухмыляясь и крепко натягивая одной рукой алые вожжи, самодовольно рубил кнутом пушистый нетронутый снег.

Валерий стоял на лыжах у самого края откоса и, полуобернувшись, глядел исподлобья на Яшку, на его новую меховую шапку с зелёным верхом, на синий кучерской армяк, туго обхваченный пурпурным кушаком, на толстые пьяные губы ямщика.

Его хозяин, купец Колчин, надменно заложив руки за спину, мелким шажком сквалыги суетливо прохаживался по откосу. Отец Валерия, старый котельщик Павел Чкалов, вызывающе отставив ногу и слегка побледнев, стоял в стороне, в окружении своих друзей из затона. Глаза его из-под тёмных бровей грозно устремлены на Колчина. Широкий в плечах, он славился силой на всю Волгу. Он мог один побороть семерых. В своём деле ему не было равного по мастерству: тридцатипятифунтовой кувалдой он играючи бил с утра до вечера. Старые котельщики говорили, что Павел мог отковать серьгу.

Павел Чкалов в компании с багермейстерами Пименовым и Малаховым и знакомым машинистом парохода «Стрежень» взяли у купца Колчина в складчину в длительную рассрочку шестидесятисильный буксирчик. Половину суммы внесли сразу. Не имея ни опыта, ни капитала, Павел Григорьевич принял на себя руководство «делом».

Купец Колчин, богатый старообрядец, подделал векселя и подал заявление в суд, доказывая, что денег ему компаньоны будто бы не уплатили. Буксирчик поставили на прикол. Прокурор обнаружил в векселях подчистку. Затеялась судебная тяжба. Суд присуждал дело в пользу Павла Григорьевича Чкалова и его друзей, но купец каждый раз обжаловал дело в высшую инстанцию и дошёл уже до сената. Эта история тянулась несколько лет. Павел Григорьевич осунулся, постарел. Люди хотели помирить его с Колчиным, однако гордость не позволяла ему уступить. Завидев издали котельщика, купец кричал:

— Иди ко мне, Павел Григорьевич, договоримся!

— Я с жуликами не договариваюсь! — хмуро гудел котельщик.

— Что же, не умеешь шить золотом, бей молотом!

И они снова расходились в разные стороны.

На масленой в Василёве обычно устраивались катания на тройках с расписными дугами, яркими лентами и цветами. Колчинский кучер Яшка куражился перед затонскими котельщиками, что резвее их тройки не сыскать на всей Волге.

— На словах, что на гуслях, а на деле, поди, балалайка? — подзадоривали его котельщики.

— В пустой бочке и звону много!

Яшкино бахвальство разозлило Павла Григорьевича.

— А ежели с горы? — угрюмым баском поддел он кучера.

— Хоть с горы, хоть на гору! — неожиданно выпалил из-за его спины самодовольный голос Колчина. Павел Григорьевич и не заметил, как сзади подошёл его заклятый недруг. — С горы их и с ветром не догонишь.

Котельщик сощуренно покосился на купца и вдруг, увидев мчавшегося на лыжах сына, предложил:

— А давай, кто скорей Волги достигнет: твоя тройка или мой Волька. Он обдерёт вас обоих вместе с вашей хвалёной тройкой.

— Это кто же? — поднял брови купец. — Уж не твой ли лобастый буйволёнок?

Маленькие глазки Колчина от изумления остановились, сверкая, как два вбитых гвоздика. Он люто, не мигая, глядел на обидчика: при всем честном народе ему, купцу первой гильдии, говорят такие оскорбительные слова! И кто? Какой-то котельщик, голь перекатная! Купца взял азарт.

— Ставлю буксир!

— Люди, будьте свидетелями!

Ударились об заклад.

— Ужели не отступишься, Павел? — ехидно подковырнул Яшка старого котельщика, хитро прижимая кнутовищем веко левого глаза: так, ему казалось, выходило обидней.

Павел Григорьевич ничего не ответил.

Крутоплечий, светловолосый подросток с открытым, смелым лицом стоял на лыжах у самого края обрыва и молча исподлобья разглядывал подвыпившего кучера. Шапка-ушанка плотно обтягивала его лобастую голову, а в добрых синих глазах будто остановилось задумчивое небо.

Вся слобода собралась на косогоре. Отступать уже было поздно, недостойно. Валерий плотнее натянул ушанку и в последний раз оглядел дорогу, она была ему хорошо знакома: каждый день скатывался он по ней на лыжах, обгоняя своих

сверстников.

Старый кузнец дедушка Ермолай — главный разнимщик — дружелюбно улыбнулся Валерию. Несмотря на свою худую, жилистую фигуру, Ермолай в прежние времена славился как один из непобедимых кулачных богатырей затона. Говорили, что ему помогало заветное слово. А слово это будто передал ему ещё дед. Как скажешь то слово, так точно будет удача. И никто никогда Ермолая победить не смог. Слово то было секретное.

Поглядел дед Ермолай своими тусклыми глазами на купчишку, потом на Павла, на всех затонских, крякнул, махнул рукой: всё одно, мол, скоро помирать, а здесь дело общее, народное; поманил он негнущейся ладонью Валерия и проговорил ему на ухо то заветное слово:

— *Крепка земля наша богатырями! Один за всех, все за одного!* Запомнил, парень? Только наперёд в своём деле всё обдумать и осмыслить надобно. Тогда и слово поможет. Сила уму уступает.

Поднял дед вверх свою чёрную, задымленную рукавицу: Яшка покрепче намотал на руки вожжи, попробовал — кони беспокойно заплясали на месте, зазвенев бубенцами.

— Пошёл! — крикнул старый кузнец и взмахнул рукавицей. Ямщик свирепо ожёг кнутом коренника и отпустил вожжи, застоявшаяся тройка, будто стрела, выпущенная из лука, бросилась вперёд — вихрь поднятого копытами снега сразу застлал и Яшку и его чёрные, похожие на ялик, лакированные саночки с крылатым ковриком, подбитые медвежьей шкурой.

Валерий на минуту замешкался: весь косогор завыл, засвистал, заулюлюкал.

— Эх, раздуй тебя мех, какой неповоротливый! — с досадой сплюнул Ермолай, но Валерий, оттолкнувшись с места, уже мчался по снежной дороге вслед за тройкой, оседающая паль сыпалась в лицо, хлестала в глаза. Сожмурив ресницы и сжав зубы, он упрямо набирал скорость. На первом повороте задок саней так швырнуло в сторону, что пьяный ямщик, потеряв шапку, едва не вывалился в сугроб. Оглядываясь через плечо, рассыпая над дорогой пронзительный разбойничий свист и беспощадно нахлёстывая по спинам коней, Яшка отрывался от своего соперника, легко уходя вниз. Валерий мчался следом, приседая на неровностях дороги и круто креня тело на поворотах.

По сторонам дороги — некогда было даже оглянуться — то и дело мелькали испуганные прохожие, недоуменно провожавшие взглядами лихую тройку и догоняющего её на лыжах паренька. Сверху, с косогора, было хорошо видно, как по уходящей вниз дороге уносились маленькие саночки и как их бесшабашно заносило на каждом зигзаге.

— Эх, не достать ему тройки! — вздыхали болельщики.

— Обалует его злодей Яшка!

— Не каркайте!

— Гляди, гляди, поднажимает!

И Колчин и Павел Григорьевич с побледневшими лицами следили за тройкой.

Теперь уж и тройка и лыжник мчались на одной скорости, но их направления непрерывно скрещивались. Когда Валерий спускался направо, Яшка, уже пройдя поворот, уходил по нижней петле в обратном направлении: сверху обманчиво казалось, что они вот-вот столкнутся и разобьются вдребезги. Яшка без устали наотмашь стегал кнутом лошадей, следом за санями оставался взбаламученный хвост сверкающей морозной пыли.

На полдороге Валерий понял, что тройки ему не догнать. Обычно препятствия удваивали его силы, заставляли напрягаться и преодолевать любую преграду. Он знал скрытую силу своего характера, но здесь она была неприменима.

Он уже и на поворотах не притормаживал, выигрывая секунды, но недосягаемая тройка уносила торжествующего Яшку вниз, к реке. Жгли стыд и досада. Неужели он проиграет? А как же отец? Он вспомнил, с какой надеждой провожал его дедушка Ермолай. Нет, не быть Яшке впереди, душа из него вон!

Через два поворота — крутой обрыв, и дорога выходила прямо к берегу Волги. Последние секунды… Давай, брат Балерин! Лыжи со свистом скользят по накатанной следовине саней. Он пригнулся пониже, от этого скорость прибавилась, но поздно: Яшка уже выходил на последнюю прямую. Кони скачут, яростно выбрасывая вперед свои тонкие точеные ноги: коренник — держа голову прямо, а обе пристяжные — по-лебединому изогнув в стороны гривастые шеи.

На предпоследнем повороте Валерий решил сократить путь и срезать угол склона по прямой. Не задумываясь, он резко свернул с дороги и, круто сорвавшись с обочины, стремительно понёсся по снежной целине вниз. На минуту тройка скрылась за выступом, и тут в последний, решающий миг он с какою-то пронзающей ясностью вдруг понял что совершил страшную, непоправимую ошибку: их пути с тройкой сейчас пересекутся! Удар оглоблей в висок, и по его измятому, изуродованному копытами телу пронесутся железные подрезы саней. На косогоре тоже увидели эту неминуемую опасность.

— Ой, батюшки, пропал Волька!

— И куда его черти понесли!

— Вались в снег, в снег вались! — орали сверху.

Скачущая тройка вот-вот должна вырваться ему наперерез.

Оставался последний выход — махнуть с обрыва. Стало страшно… Эх, была не была! «Крепка земля богатырями! Один за всех, все за одного!» — вспомнил Валерий заветное слово и на всей скорости повернул к крутому обрыву.

Его с ходу бросило вниз, потом вверх. Инстинктивно вытянув в стороны расправленные руки, он взлетел над заснеженной скалой и, как машущая крыльями большая птица, описывая в воздухе кривую, на несколько секунд невесомо повисав голубом пространстве. Это был удивительный, похожий по ощущению на дивный сон, миг освобожденного полёта! С чувством непередаваемого счастья и гордого превосходства он увидел где-то там, далеко внизу, под висящими на ногах лыжами, взмыленную тройку, как раз в эту секунду пересекавшую его путь; он пронёсся по воздуху и на огромной скорости первым коснулся лыжами поверхности реки. Не удержавшись на ногах, Валерий перевернулся через голову и весь зарылся в снежную перину глубокого сугроба.

Одна лыжа сломалась.

С трудом выбравшись из снежной ямы и отряхивая шапкой снег с влажного разрумянившегося лица, припадая на ушибленную ногу, он невыразимо счастливыми глазами глядел туда, на откос, откуда сыпались восторженный свист и ликующие крики друзей.

Протрезвевший Яшка сердито поправлял у коренника дугу, кони, устало перебирая ногами, выталкивали из ноздрей кипящий пар.

И так радостно смеялось солнце и искрилось всё вокруг, что Валерий не выдержал и, бесшабашно хлопнув шапкой о снег, победно наступил на неё валенком.

— Ого-го-го-го! — заорал он во всё своё молодое, сильное горло, и удалой голос его, повторённый эхом, с ветром разнёсся над всей широкой Волгой.

Удалая голова

Много лет минуло с той славной зимы в Василёве, и Валерии Чкалов из простого деревенского паренька вырос в смелого лётчика-истребителя.

Трудна была дорога в небо, но он никогда не отступал.

С утра до вечера бил он в кузне тяжёлой кувалдой, а летом поступил на пароход кочегаром. Но ни в дымной кузнице, ни в жаркой кочегарке ни на минуту не оставляла его мечта о небе. На всю жизнь запомнился тот удивительный и незабываемый миг освобождённого полёта в голубом пространстве, когда он перелетел на лыжах со скалы на снежный покров широкой Волги. Он летал во сне, в своих жарких разговорах с приятелями. Выбегая на палубу парохода по дышать свежим воздухом, молодой кочегар очарованно наблюдал за полётами белых чаек — мартынов, когда они распластав широкие крылья, легко и свободно проносились, взмывая и скользя над зеркальной рекой. Как страстно хотелось ему, расправив вот так же свои сильные руки, с палубы взмыть над лесом над дутыми зелеными жигулями. внизу, в кочегарке — африканская жара. Днём и ночью швыряет он тяжёлой лопатой уголь в ненасытную огненную пасть топки. По силе и выносливости с ним не может потягаться ни один взрослый

Он стоит на палубе с открытой головой, и прохладный волжский ветерок шевелит его русые волосы.

Это он, Валерий, летит и в то же время как бы сверху видит на палубе самого себя — кочегара и когда он пытается бессвязно передать это удивительное ощущение своему сменщику, тот насмешливо сплёвывает за борт.

— Блажной ты, Валериан. Сходи-ка к бабке-знахарке, полечись.

Однако мечта когда-нибудь на самом деле подняться в воздух все больше и больше захватывала подростка. В 1919 году, когда ему минуло шестнадцать лет, он поступил добровольно в 4-й авиационный парк слесарем но ремонту самолётов. Валерий не терял зря времени и, подружившись с механиками, усердно изучал мотор.

Лишь через два года, когда он прошёл все ступени — от рядового слесаря до сборщика самолётов, его командировали в школу военных пилотов. Мечта сбылась!

На всю жизнь запомнилось ему чистое июльское утро, когда суровый инструктор — «бог» — выпустил его в первый самостоятельный полёт. Он пел, он смеялся от счастья. С этого

десятиминутного полёта он и повёл счёт своей лётной жизни.

Чкалов закончил школу высшего пилотажа. В школе воздушного боя он научился владеть не только самолётом, но и оружием, применяемым в воздушных боях.

Неуступчивый, упрямый и любознательный, молодой волгарь не удовлетворялся однообразными полётами в общем строю самолётов. Он часто уходил на своей машине в сторону от аэродрома и там, тайно от всех, выкручивал самые замысловатые фигуры: вводил машину в штопор, бросал её в пике, летал вверх колесами, в течение сорока минут выполнял подряд двести пятьдесят мёртвых петель. Часто расплачивался он за своё молодечество гауптвахтой.

«Я должен быть всегда готов к будущим боям, — говорил Чкалов, — и к тому, чтобы только самому сбивать неприятеля, а не быть сбитым».

Однажды на аэродроме, показывая своё мастерство, Чкалов ринулся с самолётом вниз, желая, по-видимому, проскочить в узкий пролёт между деревьями, которые росли на границе аэродрома. Каждому, даже самому неискушённому зрителю было ясно, что пилоту изменил глазомер: расстояние между деревьями было меньше размаха крыльев самолёта. Через секунду должна произойти катастрофа! Но зрители и ахнуть не успели, как пилот на полной скорости поставил машину на ребро, и самолёт с рёвом «пролез» в эти узкие ворота.

Зимой, в серый, ненастный день, прижатая облаками к земле, маленькая амфибия Чкалова мчалась на бреющем полёте над полотном железной дороги. Навстречу из Ленинграда шёл поезд. Увидев самолёт, испуганный машинист стал давать гудки. Но пилот не сворачивал и только шагах в десяти перед паровозом, поставив на дыбы свою амфибию, перемахнул через паровозную трубу и, едва не задев поплавками заснеженные крыши вагонов, скрылся за хвостом поезда.

А однажды он виражил вокруг купола Исаакиевского собора.

Однако, прежде чем выполнить задуманное, молодой лётчик всегда старался в своём деле всё «осмыслить», не жалея на это ни сил, ни времени. И не было такого события, спора, дружеского поединка — в воздухе или на земле, — где бы не первенствовал среди товарищей. Это был большой выдумщик и затейник.

Об одном таком необыкновенном случае рассказал мне ближайший друг и сподвижник Чкалова лётчик Георгий Байдуков.

В то утро Валерий решил пойти на аэродром пешком: по пути ему необходимо было проверить некоторые расчеты.

Он любил Ленинград за стройность, чистоту и ту

освежающую прохладу утра, которую щедро приносят ветры Финского залива. Чкалов шагал не спеша, с задумчивым лицом. Он был похож на школьника, который в день экзамена, выйдя рано из дому, вдруг запамятовал самую главную формулу и теперь, завидев школу, нарочно делает зигзаги в пути, чтобы выиграть время и успеть восстановить в памяти забытый урок.

На Троицком мосту он остановился у перил, любуясь красивой, затянутой в гранит Невой, затем перегнулся через перила и, крепко держась за поручни, стал разглядывает переплёт фермы. Он старался запомнить форму нижнего обвода и расстояние от воды до ажурного пояса моста. Возле него остановился постовой милиционер. Ознакомившись с шириной пролёта, Чкалов повернулся к милиционеру и спросил:

— Думаешь браток под мостом можно на самолёте.

Милиционер от неожиданности растерялся и покраснел:

— Не знаю, товарищ командир… Пароходы большие проходят…

— Вот и хорошо. Значит, разрешаешь? — Чкалов громко рассмеялся и тут же прыгнул на ходу в проходящий мимо трамвай. «Желаю скорой смены!» — помахал он рукой удивлённому постовому.

На аэродром от трамвайной остановки он шагал быстро, часто поглядывая на небо: серая пелена приподнявшегося тумана уже во многих местах стала отливать синевой — вот-вот сквозь разорванные клочья брызнет солнце. Открытое поле, поросшее травой, с утра было приветливо и чисто. Из ангаров только что начали выводить крошечные одноместные истребители. В сторонке курили товарищи по эскадрилье.

— Чкалов! Мы вот здесь спорим: как лучше сделать «бочку»? Что для этого надо?

— Смотря где. Вверху нужен запас скорости, а внизу — запас дубовых клёпок. Остальное зависит от уменья.

Лётчики засмеялись.

Он поздоровался со всеми за руку. Было заметно, как товарищи уважали Чкалова: одни предлагали папиросы, другие потеснились на скамейке, давая ему место. Чувствовалось, что это завоевано не словами, а делами, храбростью и мастерством, большими знаниями и опытом.

Механик встретил его, взяв под козырек.

— Как мотор?

— В порядке, товарищ командир!

Чкалов любил свой самолёт и ревностно следил за его состоянием. Он надел парашют, забрался в кабину, пристегнулся ремнями, затянул потуже шлем.

— К запуску! — крикнул он механику.

— Есть к запуску! — ответил механик, подбегая к винту. Он провернул его несколько раз.

— Контакт!

— Есть контакт!

Мотор заработал на малых оборотах. Приборы показывали нормально. Чкалов дал на несколько секунд полный газ и, вновь сбавив обороты, взмахнул рукой, чтоб убрали из-под колёс тормозные колодки.

Сдвинув на глаза очки, Валерий Павлович поглядел влево, вправо и начал разбег. И лишь только самолёт оторвался от земли и набрал скорость, Чкалов лихо сделал «двойную бочку», будто расписался в воздухе, и, как ни в чём не бывало, продолжал набирать высоту.

Командир отряда сердито погрозил в небо кулаком.

Весь аэродром, как и всегда, следил за полётом Чкалова, ожидая чего-нибудь необыкновенного.

Клочья тумана на мгновенье закрыли от пилота землю, крылья истребителя, словно вспотев от напряжения, слезились тонкими, быстро стекающими струйками.

Чкалов прижал машину ниже: теперь облака не мешают видеть огромный Ленинград, над которым мчался самолёт. Город-великан спокойно дышал заводскими трубами. Развернувшись вдоль Невы и следуя её изгибам, Чкалов полетел, любуясь красивой рекой, пристанями и всем разнообразием большого города, жизнь которого можно увидеть особенно хорошо сверху.

Но вдруг его взгляд остановился на узкой ленте, пересекающей Неву. «Тот самый мост…» — улыбнулся, вспомнив милиционера. Он ввёл самолёт в вираж и, точно на карусели, начал кружиться на одном месте. От густого движения подвод, машин, трамваев и пешеходов сверху казалось, что мост, как лента конвейера, непрерывно движется со всем своим разнообразным грузом.

Валерий снизился до пятидесяти метров, пугая лошадей гулким рёвом мотора. Люди вскидывали головы вверх, с тревогой наблюдая за низко кружившимся самолётом.

Бросив виражить, Чкалов начал летать вдоль моста — туда и обратно, опускаясь к самой воде. Он внимательно разглядывал пролёты ферм.

«А что если попробовать сейчас, не откладывая? — вдруг обожгла его дерзкая мысль. — Пройду! Если точно нацелиться, обязательно пройду!»

Он ещё раз снизился и ещё раз прикинул: было немного

страшновато. Но чем больше летал он вдоль моста, тем сильнее разгоралось желание выполнить задуманное. Напряжённо работали нервы, глаза, мысль. «Только угадать нырнуть точно посередине — иначе врежусь или в воду, или в ферму».

Но вот истребитель свечой взмыл в небо, поднимаясь уже вдоль реки. Пешеходы останавливались на мосту, строя самые разнообразные предположения по поводу странного поведения лётчика.

А лётчик уже находился в том состоянии напряжения, когда опасность кажется фантазией, а страх — пустым словом, когда непостижимое превращается в действительность. Ещё час назад Чкалов и сам не мог бы сказать, что он пролетит под мостом, а сейчас ему было ясно до мелочей, как он это сделает.

Он ещё раз внимательно посмотрел на землю, в то место, где через реку, описав в воздухе несколько дуг, перекинулся мост. Рядом с ним другое подобное изображение чуть ниже на воде — это тень моста, утонувшая в реке. Самолёт опускается ниже и ниже, вот его колёса прошли над трубой буксира, закричавшего перепуганно своим резким и пискливым гудком. Но пилот не слышит гудка, он всё ниже прижимает машину к воде. В глазах рябит волнистая поверхность реки. «Ещё чуть ниже. Так, хорошо». Самолёт несётся над самой водой. Мост надвигается с огромной скоростью. Молниеносный взгляд на ферму. «Довернуть чуть влево». Точное и быстрое движение ноги. «Всё осмысли, всё рассчитай!»

Узкая щель между фермой и водой налетела на самолёт.

Послышался взрыв многократного эха от рёва мотора, тьма на мгновение ошарашила глаза, и, вынырнув из-под хвоста пилот вновь видит игривую поверхность вечно подвижной реки. «Боже, как болят уши! Кажется, лопнут барабанные перепонки». Лётчика охватила вялость, похожая на сон. Самолёт медленно и неуверенно набирал высоту.

Чкалов оглянулся по сторонам — город кружился домами, улицами, зеленеющими садами. «Скорее бы аэродром. Как долго я лечу», — думал он, ощупывая левой рукой уши.

С трудом посадив машину на землю, Чкалов необычно тихо подрулили в ангару, где ждал его механик. Он вылез на крыло усталый и разбитый, будто возвратился из дальнего перелёта.

— Пролетел всё-таки, браток…

— Куда пролетел? — спросил механик, недоумевая почему командир говорит «всё-таки».

— Под мостом пролетел!

Механик стоял на месте, удивлённо раскрыв рот. Потом сообразив, заметил:

— То-то вы так побледнели…

Лёг на траву и закрыл глаза. Он был счастлив, что одолел страх, что выполнил задуманное.

Сердца трёх

20 июля 1936 года на рассвете с одного из подмосковных аэродромов взлетел длиннокрылый одномоторный самолёт АНТ-25 и лёг курсом на север по направлению острова Виктории. Тяжёлую одиннадцатитонную машину, нагруженную различными запасами и аварийным имуществом — палатками, радиостанциями, лыжами, спальными мешками, ружьями и астрономическими приборами, поднял в воздух командир самолёта Валерий Чкалов, стартуя в первый трансарктический перелет по неизведанному маршруту: Москва — Петропавловск-на-Камчатке.

Вместе с Георгием Байдуковым Чкалов давно мечтал о таком перелёте.

Третьим примкнул к ним один из опытнейших воздушных навигаторов Александр Беляков.

…Самолёт летел на северо-восток.

Чкалов сидел за штурвалом в лёгкой кепке, повёрнутой козырьком назад, и удовлетворённо посасывал пустую трубку — курить в самолёте не полагалось.

Сосновые леса и берёзовые рощи Подмосковья уходили под узкое крыло самолёта.

Прозрачное сияние винта веселило душу. Чкалов был горд, что ведёт эту сильную и послушную машину.

Впереди солнечно сверкнула, отражая небо, голубая Волга — река его детства и юности. Неотстающая тень самолёта наискось пересекла реку. Валерий Павлович вспомнил, как с женой и маленькой дочкой они катались весной на лодке. «Так редко приходится быть с семьёй, — с сожалением думал он, озабоченно поглядывая на облачный горизонт. — Вот вернусь, обязательно съездим вместе в Василёво».

Самолёт постепенно набирал высоту. Внизу тянулась унылая, безлюдная тундра. Они вышли в устье реки Онеги, к Белому морю. Ветер усиливался. Самолёт пересекал Кольский полуостров. Погода заметно ухудшилась, навстречу ползли лохматые, угрюмые тучи. От одного их вида на душе становилось скучно. Скучно?.. Нет, Чкалову никогда не было скучно. Поднимаясь в воздух на новой машине, Валерий Павлович всегда прислушивался к её голосу: звук винта, рассекающего воздух, рождал музыку. Каждая машина пела на свой лад. Были машины, которые пели весело, были и иные. На машине «Мартинсайд», например, растяжки между крыльев звенели, как струны арфы, — нежно и печально.

Под суровой и, на первый взгляд, нелюдимой внешностью Чкалова скрывалась тонкая, музыкальная душа. В среде лётчиков, людей тяжёлой и опасной профессии подобные наклонности были нередки.

Внизу тускло и неуютно блеснуло Баренцево море, закованное в стальную кольчугу мелкого битого льда.

Пустынный вид моря напомнил разговор с одним инженером-мечтателем, работавшим над проблемой изменения курса тёплых течений.

«Сколько любопытных нерешённых задач оставляем мы будущим поколениям, — думал Валерий Павлович. — Прожить бы ещё лет сто, поглядеть — каких чудес натворят люди на земле!»

Мимо неслись рваные клочья серых облаков: самолёт входил в облачный фронт. Уже не видно концов крыльев, порой чудится, будто машина подскальзывать на крыло, — это хорошо известное обманчивое ощущение слепого полёта. Только неопытный пилот, поверив инстинкту, может совершить ошибку, ведущую к катастрофе.

От долгого неподвижного сидения нестерпимо заныла нога, сломанная ещё в детстве. Стало клонить в сон. Кислород приходилось экономить, запас его всего на шесть часов.

Внизу сквозь тонкую облачную кисею проступили острова и острые вершины архипелага Земли Франца-Иосифа. Вокруг расстилались ледовые нагромождения. Высота полёта — четыре тысячи метров.

Экипаж находился в воздухе уже более суток. От постоянного кислородного голодания кружится голова. Сверкающая белизна снега слепит глаза.

Вскоре над ледяными полями внизу заголубел туман, а вслед за ним поволоклись низкие облака. Сверху тоже надвигался облачный склон — верный предвестник опасного циклона. Самолёт вошёл в тёмное облачное ущелье. То и дело приходилось менять курс, чтобы обойти центр циклона стороной.

Девятнадцать раз штурман ломал линию полёта, а это было совсем не просто: они проходили над неизученным районом магнитного склонения.

«Силён Саша», — любовался Валерий Павлович точной работой заметно похудевшего и ставшего от этого ещё моложе Белякова. Вторые сутки он неустанно производил расчёты курса по навигационной линейке и приборам.

Чкалов попытался вспомнить Сашу Белякова молодым, когда тот воевал вместе с Чапаевым.

Компас отвлёк его от воспоминаний. Самолёт летел в

широтах, где царил непрерывный полярный день, трудно было представить, что в Москве сейчас глубокая ночь. Над уснувшим городом стоит звёздная тишина, в раскрытые окна с площади долетает близкий звон кремлёвских курантов. На бульварах несмело шелестит сонная листва. Окна его дома темны. В детской полумрак. Дочка спит, подложив под щеку розовые ладошки. У Ольги бессонница, она думает о нём… Как-то они там?

…Пора будить Байдукова. Невыносимо ломит колени. Невидимое солнце сеет сквозь плотное покрывало верхних облаков тусклый, холодный свет. Забравшись в спальный мешок, Чкалов прилёг на масляный бак и попытался уснуть… На его место уселся Байдуков. Чкалову видны его грузная спина в меховом комбинезоне, чуть заметные уверенные движения рук и ног, управляющих самолётом. «Как хорошо, что мы нашли друг друга, — думал он в полудремоте. — Большое дело — доверие. У каждого из нас свой характер, непохожие мы. А вот подошли. И каждый уверен в другом, как в себе. Хорошо иметь таких друзей».

Байдукову надоели обходы, и он решил пробиться сквозь облака к солнцу. Но заискрившийся на выступающих частях самолёта и окнах ледяной налёт заставил его тут же пойти на снижение. Он пронзал облака слой за слоем, с надеждой выбраться в чистое пространство, но внизу лил сплошной, непроглядный дождь, и болтало хуже, чем на море в штормовую погоду.

— Челюскин не отвечает, — с беспокойством сообщил Беляков, уже около суток бессменно нёсший свою штурманскую вахту. Он пытался настроиться на радиомаяк мыса Челюскина, но на посылаемые в эфир сигналы ответа почему-то не было.

Очнувшись, Чкалов с недоумением огляделся вокруг. Капли холодного встречного дождя разбивались о стёкла кабины. Байдуков вёл вздрагивающую машину в сплошном месиве клубящихся облаков.

Экипаж принял решение продолжать путь через Таймырский полуостров к устью реки Лены.

И вот циклон, наконец, позади! Они увидели солнце. Самолёт пересёк Хатангскую губу и отклонился в глубь материка. Якутию перелетели над бесконечной цепью скалистых пиков. Они шли с опозданием. На борьбу с циклоном потеряно свыше трёх часов дорогого времени. Внизу неуклюже повернулся неприветливый хребет Кулар. За ним показался хребет Бао-Хоя и хребет Черского, выступающий из мрачной сумеречной мглы.

Байдуков передал радиограмму:

«Пересекли Лену в 12 часов 42 минуты. Идём на Петропавловск. Высота 4400 метров. Сегодня Арктика отняла

много сил экипажа. Сильные лобовые ветры, облачность привели к перерасходу горючего. Отдыхаем поочерёдно. Убедились, как коварна Арктика и какие вместе с тем сказочные прелести таит она в себе».

В 15 часов 40 минут была передана очередная радиограмма: «Находимся в центре Якутских гор. Склоны и ледники освещены солнцем. Все в порядке. Байдуков».

Вечерняя мгла обволакивала землю. Самолёт опять мчался над облаками. Это затрудняло ориентировку. Беляков взялся за астрономические приборы. Вечером проплыли над заливом Бабушкина — точно по намеченному маршруту. Это всех обрадовало. Чкалов с благодарностью поглядывал на сосредоточенное, небритое лицо своего штурмана. Шлем с наушниками сжимал ему голову, и он, сняв его, летел с открытой головой.

Через окошечко фюзеляжа в течение двух суток светило незаходящее полярное солнце. На лбу и на висках у Белякова появились ожоги.

От недостатка кислорода никому не хотелось ни есть, ни пить.

«Эдак долго не продержимся, — озабоченно думал Чкалов, — ишь, как побледнел Байдуков. И губы запеклись. Голод и усталость дают себя знать».

— Егор, съел бы бутерброд с икрой!

Уткнув лицо в кислородную маску, Байдуков молча отмахнулся: он жадно дышал.

Самолёт шёл над серой котловиной Охотского моря, логовом бурь и грозных циклонов.

Пилотское место занял Байдуков. Чкалов подполз к штурману.

— Далеко ли Камчатка?

Они шли над облаками. Беляков произвёл расчеты. Спустя полтора часа сквозь разрывы облаков показалась вершина сопки, затем бухта и городские домики — это был Петропавловск-на-Камчатке.

— Мы у цели, друзья! — возбуждённо выкрикнул Чкалов, обнимая сзади за плечи Байдукова. — Ура!

Беляков быстро написал приветственную записку жителям Петропавловска и, вложив её в жестяной цилиндрик с яркой лентой и поплавком, сбросил вымпел вниз.

Теперь путь их лежал к Николаевску-на-Амуре. Вахта Байдукова окончена, он уступает пилотское место Чкалову.

Охотское море приходится пересекать вторично. На мрачном скопище огромных, устрашающих своими размерами, зловеще

освещённых пурпурных облаков их самолёт кажется маленькой, нечаянно залетевшей сюда одинокой ласточкой.

Радио сообщает неприятные вести: по пути густой дождь с туманом. С юга, со стороны Маньчжурии, надвигается циклон. «Как быть? — взвешивал обстановку Чкалов. — Лететь на Читу, значит провести ночь над горами… В такую непогоду. А горючее на исходе… Едва ли хватит до утра. Да и граница рядом. Пожалуй, придётся сесть в Хабаровске».

Он круто повёл самолёт на снижение. С каждым мгновением лететь становилось всё труднее. Порывами ветра машину встряхивало с такой силой, что, казалось, вот-вот отломится крыло или отвалится хвостовое оперение. Косые полосы секущего дождя не позволяли определить расстояние до бушующих волн. Крепко сжимая в руках штурвал, Чкалов напряжённо всматривался через открытую боковую створку в мокрую непроглядную муть. Но вот в стороне совсем близко вывернулся из мглы берег — Сахалин. Беляков точно вывел самолёт на маршрутный пункт. Стремительно промчались они над островом, и снова под ними вздыбились свирепые буруны Татарского пролива. Норовя обойти преграждающую путь жёлтую стену ливня, Чкалов круто, почти стоймя, развернул самолёт, рискуя зацепиться концом крыла о невидимую воду. Но тщетно: ливень сек со всех сторон.

«Пойду на высоту! — решил Чкалов. — Наверху дождя не будет». Но не успели вскарабкаться и на двухтысячную высоту, как началось самое страшное: узкие крылья, стекла и хвост самолёта с невиданной быстротой стали покрываться тяжёлым ледяным панцирем. Машину затрясло, как в припадке.

Байдуков слал в эфир одну радиограмму за другой: «Хабаровская широковещательная. Срочно запускайте десятикиловаттную. Обледеневаем в тумане. Давайте наш позывной непрерывно словами…»

Валерий Павлович бросал оценивающие взгляды на побелевшие крылья самолёта: льдистый покров катастрофически утолщался. Машина тяжелела, Мотор работал неравномерно, лёд начал намерзать и на лопастях винта.

Как всегда, ощущение опасности возбуждало Чкалова. Мысль работала остро, движения становились точны и решительны. Битва со стихией была по сердцу его богатырской натуре. Он резко бросил машину вниз, в дождь и мрак, уходя из страшной зоны обледенения.

Неожиданно из тумана возникла тёмная расплывчатая масса, она неслась навстречу и прояснялась с устрашающей скоростью. Однако в самый последний миг Чкалов успел отвернуть в

сторону. Отвесная скала возвышенности, вздымавшейся за облака, промелькнула рядом.

Но из дождливого сумрака выскочила новая скала.

— Давай обратно к проливу! — громко выкрикнул Байдуков на ухо Чкалову. — Здесь мы угробимся…

Он безостановочно передавал в эфир радиосигналы.

— Что сообщает Николаевск? — не оборачиваясь, спросил Чкалов.

— Молчит.

— Тогда я ложусь курсом…

Но Байдуков, услышавший в наушники что-то важное, жестом прервал его. Из эфира долетали обрывки слов, они передавались непрерывно:

«…Приказываю прекратить полёт… сесть при первой возможности… Орджоникидзе… Приказываю прекратить полёт… сесть…»

Байдуков, не снимая наушников, доложил командиру экипажа о полученном из Москвы приказе. «Сесть. Но куда? — размышлял Чкалов, разворачиваясь в обратную сторону, к Татарскому проливу. — На материке в такую погоду не сядем. Лететь на Сахалин?..»

Горизонт быстро темнел, приближалась ночь. Туман стал реже, и они увидели под собой огоньки и песчаную отмель неизвестного узкого островка. Беляков быстро разыскал на карте точку, под ней было обозначено название островка.

— Залив Счастья. Остров Удд, — сообщил он Чкалову.

— Да, на материк нам уже не пробиться.

— До сих пор залив Счастья спасал от шторма моряков, — кивнул вниз Беляков, — теперь ему придётся выручать и лётчиков!

— Будем садиться здесь, — сказал Чкалов, — но прежде поищем куда.

Рисковать машиной после такого напряжённого перелета Чкалов не имел права. Ещё и ещё раз пересекали они остров в разных направлениях, высматривая подходящее для посадки место. Круживший над крышами огромный незнакомый самолёт всполошил всё небольшое население островка. Несколько человек, выбежав из домиков, сгрудились на пустыре, как раз облюбованном Чкаловым для посадки. Самолёт кружился над ними, с рёвом проносился над их головами, но жители островка, вероятно, не понимали намерений лётчиков и, подняв вверх головы, с любопытством следили за самолётом. А сумерки всё сгущались.

Байдуков написал записку с предупреждением, что самолёт

сейчас будет садиться, вложил её в жестяную коробку с широкой лентой и сбросил вымпел на землю. Двое из толпы подбежали и подняли вымпел. Их внимание привлекла яркая лента, о том же, чтобы открыть коробочку, они не догадывались.

Положение создавалось трудное.

Наступала ночь.

— Выпускай шасси! — хрипло скомандовал Чкалов. — Я им объясню по-другому.

Байдуков включил рубильник на выпуск: колеса встали на место. Самолёт развернулся на посадку. Обороты сбавлены. Всё ниже и ниже планирует самолёт, левую руку Валерий Павлович на всякий случай не снимает с сектора газа. Вот понеслась мимо мокрая песчаная коса, колеса едва коснулись грунта. И вдруг истошный голос Байдукова:

— Овраг!

Но Чкалов и сам заметил опасность. Самолёт взмыл над оврагом, преодолевая последнее препятствие, и Чкалов мастерски посадил машину на мокрый и вязкий грунт. Мотор выключен. Их поразила оглушающая тишина. Они помолчали. Затем Беляков открыл задний люк, и они по очереди спрыгнули на землю. Эх, как хорошо на земле! Колеса машины глубоко увязли в песок. Осмотрев шасси, Валерий Павлович, раскинув руки, устало облокотился о кромку крыла рядом с Байдуковым и блаженно закрыл глаза. В голове продолжал звучать неугомонный гул мотора.

Тяжело передвигаясь в мокрых унтах, они принялись швартовать самолёт к земле. Из темноты появились люди, их движения настороженны. Некоторые с ружьями.

— Откуда прилетели? — спрашивает один бородатый.

— Прилетели из Москвы, — отвечает Чкалов.

Люди недоверчиво переглядываются. Среди них русские и нивхи — низкорослые, в зипунах, с длинными заплетёнными косами. На островке живут рыбаки и охотники.

Наладив антенну, Байдуков передал в эфир сообщение о благополучной посадке. Захватив с собой документы и мешок с аварийным продовольствием, они зашагали по грязи к приветливым огонькам поселка.

Их ведут на постой в самую большую избу, к начальнику лова, смелому рыбаку Тен Мен Лену. Хозяина нет дома. Гостей встречает хозяйка Фетинья Андреевна. В избе чисто. Горит керосиновая лампа. На столе — раскрытый букварь.

— Кто это занимается грамотой? — поинтересовался Валерий Павлович.

— Охотников обучаю и детишек ихних, — вытирая руки о

фартук, смущённо ответила хозяйка.

— Это дело, — доброжелательно прогудел Валерий Павлович, знакомясь с хозяйкой.

— А я, грешная, подумала: уж не чужой ли самолёт к нам залетел. До границы-то от нас рукой подать. Буквы иностранные на крыльях меня с толку сбили, — говорила хозяйка, раздувая самовар.

О том, что три рыбака, на всякий случай, были посланы на ту сторону залива, к пограничникам, она помалкивала. Всё это выяснилось потом, когда на остров прибыли моряки сторожевого катера.

На столе, застланном вышитой скатертью, появилось угощение: шоколад, галеты, фрукты, консервы. Зашумел самовар. За столом завязался оживлённый разговор.

— Ну, друзья, вы как хотите, а я спать, — заявил после ужина Валерий Павлович.

Тут же на полу они забрались в спальные мешки.

Снов не видел никто…

Слава

Утром 23 июля во всех газетах Советского Союза появилось правительственное сообщение:

«Беспосадочный дальний перелёт лётчиков Чкалова, Байдукова и Белякова.

Экипажу самолёта АНТ-25 было дано задание: пролететь без посадки по маршруту Москва — Баренцево море — Земля Франца-Иосифа — мыс Челюскина до Петропавловска-на-Камчатке. В дальнейшем, при наличии благоприятных условий и погоды, самолёту следовать дальше по направлению Николаевск-на-Амуре — Чита.

Экипаж самолёта блестяще справился с поставленным заданием. Пробыв в воздухе пятьдесят шесть часов двадцать минут, самолёт покрыл расстояние в девять тысяч триста семьдесят четыре километра, из них восемь тысяч семьсот семьдесят четыре километра по заданному маршруту и шестьсот километров на обход циклонов в районе Северной Земли и Охотского моря.

В тринадцать часов сорок пять минут товарищ Чкалов с исключительным мужеством и мастерством, в сплошном густом тумане, совершил посадку западнее Николаевска-на-Амуре, на маленьком прибрежном островке Удд».

И уже во все концы земли летели телеграммы корреспондентов иностранных газет, сообщающих о смелом перелете трёх русских лётчиков. Весь мир повторял имена героев.

Но Чкалов не думал об этом. Похаживая у самолёта, он вымерял глазом пространство для взлёта машины. Он до сих пор ещё не представлял всего значения совершенного им подвига. В своей жизни Чкалов очень редко, пожалуй, никогда не был доволен достигнутым. В его могучей душе жила вечная неудовлетворенность свершённым делом, и это чувство всегда заставляло его быть неутомимым в поисках нового. Он не думал сейчас ни об успехе перелета, ни о славе: мечты его уже были устремлены к новому перелёту, давно обдумываемому вместе с Байдуковым. Здесь, на полузатерянном островке, где, ударяясь о скалы, грозно взрывались, рассыпаясь снежными брызгами, штормовые волны такого же беспокойного, как и его мятежный характер, Охотского моря, он думал о перелёте через Северный полюс. Это была дерзкая мечта. Многие лётчики разных стран и национальностей мечтали о чести — первыми пересечь таинственное белое пятно полюса Неприступности.

Чкалов уже давно заприметил в сторонке возле кустарников

однорукого охотника — нивха. То и дело поправляя на своих длинных, заплетённых в косу чёрных волосах старый меховой малахай, он нерешительно переминался с ноги па ногу. «Наверно, хочет о чем-нибудь спросить», — определил с улыбкой Валерий Павлович. И на самом деле, с тем удалым видом, когда говорят: была — не была, где наша не пропадала! — охотник, махнув рукой, отважно пошагал к самолёту.

Он молча остановился у края крыла, моргая своими маленькими, похожими на чёрные арбузные семечки глазками.

— Пхаин, — назвал он себя.

Валерий Павлович приветливо протянул охотнику руку. Знакомство состоялось. Из разговора выяснилось, что Пхаин всю жизнь провёл на острове, никогда отсюда не выезжал, не видел ни каменных домов, ни поезда, руку потерял на охоте.

— Правда ли, — наконец спросил охотник про самое главное, мучившее его, — будто Валерьян Павлыч Чкалов летал в Москве округ колокольни Ивана Великого и будто — то наденет картуз на крест, то снимет, то наденет, то снимет. Верно ли это?.. Поспорили мы тут.

Наивный вопрос нивха до глубины души растрогал Чкалова. Он обнял охотника за плечи и тут же подарил ему свою любимую трубку.

— Спасибо, друг, за такую добрую и лестную сказку. Где это только ты услыхал её?

— Слава впереди человека бежит.

— Нет, брат, не летал, но обязательно попробую, — пообещал Чкалов.

Этот разговор с охотником заставил его глубоко задуматься над своей судьбой. «Выходит, и здесь, за тридевять земель, о нас слыхали люди», — с радостным удивлением думал он, направляясь к берегу моря. Ему хотелось побыть одному со своими думами, помечтать немного. «Какой здесь суровый климат, — продолжал удивляться он, — а сколько вокруг прекрасных цветов!» — и он наклонился, чтобы сорвать фиолетовый ирис. К берегу Валерий Павлович подошёл с букетом пышных ирисов и нежных по окраске диких душистых роз. Он присел на прибрежный бугорок, заросший редкой травкой и кустами рыжего цепкого бурьяна.

Море бушевало. Над пенными волнами с пронзительными криками метались чайки.

Память не могла ещё объять полностью всех впечатлений, что вместила за время перелёта его душа. Вновь проходили перед его мысленным взором величественные и грозные картины опасных бурь, возникали таинственные облачные ущелья, сырые

бездонные провалы, поднимались лиловые вершины горных хребтов, яростно катились валы иссечённого холодными дождями неспокойного моря, и в его душе рождалась торжественная музыка — низкий гул контрабасов, напоминающий суровый однообразный гул моря.

Из-за грохота волн он не слышал, как к нему уже несколько раз обращался невысокий худощавый человек в серой кепке, с измученным и небритым лицом. Его спутник в помятой шляпе, опустившись на одно колено, быстро фотографировал лётчика на фоне белой, отвесно вздыбленной волны.

На остров прилетели корреспонденты. Усадив Байдукова писать заметки о перелете, они разыскали Чкалова на берегу моря. Однако Валерий Павлович писать отказался наотрез.

— Мы сами напишем, — соглашались на всё корреспонденты, — вы только расскажите, поделитесь своими мыслями.

Пошарив по привычке в карманах и не найдя там трубки, Чкалов угрюмо пробасил:

— Ладно уж. Что там вас интересует?

Оба корреспондента вынули блокноты и ручки.

— Расскажите нам о вашем экипаже и в чём секрет успеха вашего беспосадочного перелета.

Валерий Павлович сосредоточенно вгляделся в туманное море.

— Пишите…

Неторопливо, обдумывая каждую фразу, Чкалов начал диктовать свой рассказ.

— Я люблю одарённых людей, и тем более, одарённых к лётному делу. Байдуков рос и формировался как лётчик на моих глазах. Я внимательно следил за его ростом. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что каждый из нас, набивший руку на этом деле, с одного-двух взглядов, особенно во время полётов, может определить класс любого лётчика. Тем более я, наблюдавший за ним довольно продолжительное время. Профессия лётчика-испытателя обязывает внимательно относиться, вникать, изучать самые как будто бы незаметные для постороннего глаза явления. Это постепенно входит в кровь. Если машину изучаешь до самой доскональности, то человека — тем более. Егор Байдуков, как мастер воздушного ремесла, — явление незаурядное. Пожалуй, трудно во всём воздушном флоте найти равного ему лётчика, специалиста по вождению самолёта в тумане и облаках. — Чкалов помолчал немного и добавил: — Лично я затрудняюсь назвать такого. Когда машина врывается в склизкую, глухую, лохматую мразь и часами не видно ни земли, ни неба, ни даже

крыльев самолёта, а Байдуков сидит на пилотском месте, зорко следя за показаниями приборов, можно быть спокойным и вполне уверенным в том, что машина выйдет из облаков в точно заданном направлении и в нормальном положении горизонтального полёта.

Поднявшись с земли, Чкалов продолжал свой рассказ, прохаживаясь мимо торопливо записывающих корреспондентов.

Насколько трудно водить машину в тумане, можно понять уже по одному тому, что даже птицы, попав в туман, теряют своё нормальное положение относительно земли. Уметь хорошо провести машину в облаках — это великое искусство. Тут на помощь слабому и неразвитому инстинкту человека изобретены приборы… Часто бывает, летишь, приборы показывают одно, а самому кажется, что самолёт идёт или с креном, или ещё в каком-либо неправильном положении. Лётчики, попадавшие в туман, хорошо знают эту тягостную, угнетающую раздвоенность. Вот почему я как профессионал высоко ценю и уважаю Байдукова.

Чкалов попросил папиросу и с чувством облегчения закурил.

— Как мы сошлись с Егором?.. Работая над испытанием новых конструкций, я все время думал о совершении какого-нибудь рекордного перелета. Этот случай вскоре представился. Как известно, Байдуков летел вторым пилотом с Героем Советского Союза Леваневским. По ряду причин им пришлось возвратиться обратно. Машину отправили на завод. И вот в начале 1936 года мы вместе с Байдуковым задумали на этой самой машине свершить рекордный беспосадочный перелёт. После рабочих полётов Егор заходил ко мне на Ленинградское шоссе, или я шёл к нему на квартиру, в Вадковский переулок, и там мы обсуждали все возможности и вероятности будущего перелёта. Вместе с Беляковым мы разработали наш план в малейших деталях.

Полёт был выполнен нормально. Мы решили поставленную задачу. Во время перелета и всех событий, связанных с ним, наша тройка окрепла, и я ещё больше привязался к Егору и Саше. Тут на деле я получил полное подтверждение их высокого класса как мастеров слепых полётов.

Оглядев недовольно серое, закиданное мокрыми овчинами облаков неуютное небо, Чкалов добавил:

— Но что тут толковать: Мы с Байдуковым просто обыкновенная физическая сила. А вот наша учёная сила — это Беляков. Удивительная голова! Когда Саша даёт курс, мы всегда спокойны. Мы доверяем ему больше, нежели приборам. Он и штурман первоклассный, и лётчик талантливый. Это сложное искусство — по солнцу, по ветру да по звёздам прокладывать

дорогу в небе! Беляков — настойчивый, смелый, мужественный товарищ. Ему мы также многим обязаны в чёткости перелёта…

— Всё?

— Всё! — кивнул головой Чкалов.

Корреспондент в кепке недоумённо пощупал выпачканными в чернилах пальцами свой заросший щетиной, неопрятный подбородок и, переглянувшись с приятелем, громко рассмеялся.

— Любопытно бы узнать, а Валерий Павлович Чкалов принимал какое-нибудь участие в этом перелёте?

О себе Чкалов не сказал ни слова.

У Николая Островского

Нежнейшая полоса серебристого моря, будто занавеска, пересекает окно просторной веранды.

— Николай Островский приглашает в гости на новую дачу, поедем? — спрашиваю у Чкалова по телефону.

— С большой охотой.

Третьего дня Чкалов простудился и потерял голос, он говорит хрипло, с трудом.

Сегодня Островский будет выступать по радио: еду к нему пораньше — предупредить о встрече с героями, попутно надо заехать за испанским лётчиком. Это — сюрприз.

Белая дача, похожая на лёгкий парусник с открытой палубой, поставлена на взгорье, недалеко от нового моста. У входа, вытянувшись в струнку, стоят бессменные часовые — два тонких кипариса.

В это утро, как и обычно, Николая перенесли на веранду: слушать долетающий сюда гул волн для него большое удовольствие. Лежа на тахте с открытыми незрячими глазами и вслушиваясь в задумчивый шелест листвы, он нервно перебирал своими тонкими подвижными пальцами край одеяла.

— Мама, а когда должны включить микрофон? Я так волнуюсь: в первый раз по радио. Всю ночь не спал, боялся, чтобы речь из головы не вылетела…

Ольга Осиповна, держа в руке газету с очередной сводкой военных действий в Испании, переставляла на карте булавки с разноцветными флажками.

— Говорили, в двенадцать.

Осторожно открываю стеклянную дверь веранды.

— С добрым утром!

— Это ты? — Николай сразу умолкает, прислушиваясь. — А кто с тобой?

— Испанский лётчик.

— Лётчик из Испании! — Островский весь встрепенулся, ожил, засиял. — Убей меня бог, но это же чудеса! Мы только что с мамой говорили об испанских событиях. Садитесь, друзья, и немедля ни одной минуты рассказывайте, что там в Испании. Хорошо ли дерутся бойцы Интернациональной бригады? Как имя товарища? Почему он оказался здесь?

— Зовут его Родриго Гарсиа. В Сочи он лечится после тяжёлого ранения. У него перебита рука…

— По-русски он говорит?

— Ньемного, — ответил, улыбаясь, Родриго.

— О, в таком случае скорей расскажите обо всем, что происходит у вас там, на фронте, — взмолился Островский. — Мы так переживаем все ваши события. Как там воюет мой задушевный друг генерал Лукач?

— Генерал Люкач любимец республики Испанья…

С восторгом продолжая разглядывать Островского, испанец осторожно, чтобы не скрипнуть, присел на краешек соломенного кресла; из-под чёрных широких его бровей сверкали живые, полные жгучего любопытства глаза.

— Генерал Люкач вас передаёт свой боевой салюда!

— Щиро дякую, як кажут у нас на Украини!

Боясь утомить больного писателя, Родриго сжато рассказал о последних событиях в Испании.

Зазвонил телефон, с радиостанции просили дать пробу. Микрофон, укреплённый на спинке стула, пододвинули поближе к постели Николая.

На дворе прогудел автомобильный сигнал. Ольга Осиповна внесла на подносе фрукты и вино.

— Коля, к тебе гости.

— Кто там?

Герои уже поднимались по лестнице. Первым вошел Чкалов, за ним Беляков и Байдуков. Гарсиа почтительно встал.

— Знакомьтесь, друзья! Это — мама Николая…

Чкалов поклонился и поцеловал Ольге Осиповне руку.

— Матери, вырастившей такого славного сына… — прогудел он простуженно. — Ну, как вам тут живётся на новой даче?

— Спасибо.

— Волшебно, даже соловей по утрам поет, — улыбаясь ответил Островский. — Устраивается на сосне как раз против моего окна и начинает давать концерты. Работаем с ним вдвоём, в одном строю…

— Вдвоем, в одном строю, и славно получается.

Чкалов поднял голову, будто хотел увидеть на сосне соловья.

Островский невидящими глазами глядел в ту сторону, где находился Чкалов.

— Валерий Павлович, вы какого года рождения?

— Девятьсот четвертого.

— Выходит, мы одногодки! Тогда разреши перейти с тобой на ты, — предложил Островский. — Ничего не имеешь против?

— Отчего же, я с удовольствием! — Чкалов опустился в затрещавшее под ним соломенное кресло и полез в карман за портсигаром. — Однако я представлял, что ты не такой… Ну, как бы это сказать, ну, веселый…

Островский чистосердечно, от всей души рассмеялся, и было

удивительно, откуда в этом навсегда прикованном к постели, обреченном на вечную неподвижность человеке столько брызжущей, лучистой жизнерадостности.

— Нашего брата, старого комсомольца, голой рукой не визьмёшь, — по-украински ответил Островский. — Мне некоторые врачи предсказывали, что я проживу лишь полтора года. А я сказал: ошибаетесь, проживу три! По их предсказаниям, я должен был уже умереть. Но — выжил. И вот теперь все на свете, даже физическую боль принимаю, как премию. Раз я ощущаю боль, значит я живу! А это — самое главное…

— Настоящий героизм, — с уважением сказал Чкалов.

— Какой это героизм, просто необходимость, — отмахнулся одними пальцами Островский, — А вот вы, действительно, геройский подвиг совершили: из Москвы на Дальний Восток! Такой перелёт через льды и пустыни… Вы ведь не знаете, друзья, что самой моей заветной мечтой было стать лётчиком.

— Не может быть!

— Да, да, — распаляясь, горячо заговорил Николай. — И ведь я даже в школу пилотов поступил. Даже медицинскую комиссию прошел, да чёртов глазник подвел, вредный старик попался. Разоблачил, что у меня один глаз совсем не видит. Это результат контузии в гражданскую войну. Наше поколение должно стать крылатым. И профессия лётчика была моей постоянной недосягаемой мечтой!

— У каждого своя мечта, — задумчиво возразил Чкалов, — А мне бы, например, в Испанию, переведаться с фашистскими асами, показать им нашу русскую хватку! От души завидую испанским лётчикам…

Испанец понял смысл фразы, сказанной Чкаловым.

— А мы, товарищ Чкалов, применяем в воздушных боях ваши метод работа: бьём фашисто по-чкаловски! Вас имья хорошо известно республиканским пилота…

Чкалов залился густым румянцем, и было странно видеть на этом мужественном лице выражение растерянности и смущения.

— Спасибо на добром слове. — Он неловко полез за чем-то в карман.

Байдуков и остальные гости деликатно отошли к карте Испании, где алым шёлковым шнурком и флажками была обозначена линия фронта.

Испанец вполголоса начал рассказывать о положении под Мадридом.

Оглянувшись через плечо — не слушают ли его, Чкалов наклонился к Островскому и, понизив голос, с дружеской задушевностью спросил:

— Слушай, Никола, а ведь, положа руку на сердце, трудно тебе, а?

Островский нахмурился, лёгкая тень усталости легла на его высокий открытый лоб.

— Кому другому не сказал бы, тебе скажу… Бывают такие минуты, боль схватывает всё тело, будто на костре горишь. Голова разламывается на части. Никакие лекарства не могут утишить эту страшную, нестерпимую боль. Стиснешь зубы и крепишься изо всех сил, чтобы случайным стоном не выдать матери своих адских мук…

— Понимаю, — сочувственно покачал головой Валерий Павлович.

— А так хочется жить, если бы ты знал, так хочется! — сдерживая волнение, страстным шепотом почти выкрикнул Островский. — Хочется жить, работать, драться… Мне так необходимо в Москву, к библиотекам и архивам. Книгу, книгу закончить во что бы то ни стало…

— В чём же дело?

— Ехать в Москву не разрешают. Боятся, дорогой умру. Старая история… А я не умру. Я не умру до тех пор, пока не закончу свою книгу. Я это твёрдо знаю.

— Да, брат, понимаю. — Чкалову, видимо, хотелось чем-нибудь поддержать, ободрить больного друга. — У каждого человека случаются в жизни такие, казалось бы, совершенно безвыходные положения, когда он бессилен что-либо предпринять…

— Неужели и у тебя такое бывает? — с надеждой встрепенулся Островский.

— Бывает. А твою мечту я понимаю. Сам мучаюсь.

— О чем же твоя мечта?

— Перемахнуть через Северный полюс.

— Смелая мечта! Так что же?

— Сказали, чтоб пока погодил… Никак не добьюсь разрешения. Плохой я дипломат, — махнул рукой Чкалов.

— Почта! — перебил его из-за двери зычный голос почтальона.

Островский повернул голову к дверям.

— Мама, свежие газеты! Дай их скорее сюда… Что-то там в Испании?

Беляков развернул газету и стал читать вслух сообщение из Мадрида:

«Самолёты противника подвергли жестокой бомбардировке окраину города, где ютятся беднота и мелкие ремесленники. Среди убитых — старики и дети. Сбито два бомбардировщика

мятежников. Спасшийся на парашюте фашистский пилот захвачен в плен».

Пальцы Островского нервно затеребили край одеяла.

— Вот когда я особенно жалею, что не послан в Испанию. — Чкалов хмуро поглядел в сторону моря.

Резко прозвучал телефон, звонили с радиостанции:

— Через полминуты включаем вас без всякого предупреждения.

Островский заволновался: он был захвачен врасплох.

— Так быстро?

— Товарищи, полнейшая тишина — включаем микрофон…

На лбу Николая выступили мелкие капли пота. Прерывающимся от волнения голосом он не сказал, а выдохнул сто раз обдуманную за ночь первую фразу:

— С большой гордостью и радостью вхожу я на эту невидимую для меня трибуну…

Чкалов заботливо приподнял его под спину вместе с подушкой.

— Друзья мои! Я горячо жму ваши руки. Ваши молодые сердца должны чувствовать биение моего сердца. Для вас я живу… — Островский постепенно овладевал собой, голос его креп, молодел. — Мы хотим мира, мы возводим хрустальное здание коммунизма. Но было бы предательством забывать о том, что нас окружают злейшие, кровавые враги…

Поддерживая под голову Николая, Чкалов видел, как на виске Островского отрывисто, как электрическая искра, пульсировала тонкая голубая жилка.

— …И если фашизм, эта бешеная собака, бросится на наши рубежи, то миллионы молодых бойцов встанут под ружьё, и первыми из всех ответят ударом на удар наши храбрые лётчики, которых я приветствую в лице дорогих моих друзей — Чкалова, Байдукова и Белякова.

От волнения Островский больше уже не мог говорить.

— Да здравствует великое сегодня и ещё более прекрасное и ещё более замечательное наше завтра! — выкрикнул он напоследок.

Валерий Павлович бережно опустил подушку. Ольга Осиповна сложенным вчетверо голубым платочком заботливо вытерла пот на лбу уставшего сына.

Откуда-то с улицы долетела музыка духового оркестра. На веранду с огромным букетом роз вбежала сероглазая, подстриженная под мальчика школьница в пионерском галстуке.

Она остановилась, ошеломленная присутствием множества незнакомых людей. Потом серьезно, негромким голосом сказала:

— Примите от нас эти розы. Мы слушали сейчас вашу речь. Мы клянемся защищать нашу Родину до последней капли крови!

Нежная краска волнения взбежала на бледные щеки Островского.

— Как я счастлив, друзья мои, кто бы знал! Как тебя зовут, девочка?

— Зоя, — вполголоса ответила она.

— Спасибо тебе, Зоя! А цветы героям передай.

Взяв девочку за подбородок, Валерий Павлович по-отцовски ласково поцеловал её в чистый лоб. Букет он бережно положил на постель Николая.

Глаза испанца горели.

— Я еду Испанья!

Чкалов молча протянул испанцу руку.

— Друзья, подойдите же ко мне! — Островский с признательностью положил свои прозрачные, тонкие, как свечи, восковые пальцы на смуглую руку испанца и на широкую, полную силы и жизни, мужественную руку Чкалова.

— Один за всех, все за одного!

Васильки

Крупный солнечный дождь, освежая воздух, дробно стучит по крыше летней платформы вокзала. Весёлые детские головы выглядывают из окон вагона с табличкой: Москва — Артек. Среди них много маленьких испанцев, прибывших из-под Мадрида. Это дети фронтовиков.

Чкалов стоит у вагона и в последний раз смотрит на сына — через день-два предстоит труднейший перелёт через Северный полюс. У сына удивительное сходство с отцом — те же сдвинутые брови, подвижные ноздри и добрые, весёлые ямки на щеках. На отце чёрный пиджак, простая русская косоворотка, он по-рабочему приземист, широкоплеч, могуч.

— Полюбуйся, какие у всех детей интеллигентные лица, — влюблённо гудит Чкалов. — На наших глазах новое поколение растёт. Эх, если бы мы в их годы учились, — сокрушенно вздыхает он.

Мать стоит сзади, она по плечо мужу. Большими встревоженными глазами глядит она на сына — сегодня он отправляется в свой первый самостоятельный рейс. Послезавтра улетает отец… Какие опасности могут встретиться им в пути, кто знает!

Поезд трогается. Чкалов шагает рядом с вагоном, держась рукой за раму окна.

— Учите там маленьких испанцев петь «Интернационал»!

У самого края перрона он останавливается и долго глядит вслед поезду. Дым паровоза, прибитый дождем к земле, стелется по полотну дороги. Валерий Павлович не спеша возвращается обратно.

С вокзала он уезжает в Щёлково: уже больше месяца экипаж живет под Москвой, готовясь к дальнему перелёту.

И вечер не приносит прохлады. Нагретые за день жарким июньским солнцем, каменные дома и мостовые дышат удушливым зноем. У киосков с водой длинные очереди изнемогающих от духоты усталых горожан. Над московскими бульварами висит блеклая, разомлевшая луна. В воздухе лениво кружится лебяжий пух тополей, накапливаясь в сырых канавках и под заборами, он вырастает в пышные кисейные сугробы: лёгкие и нежные, они тихо пошевеливаются от тёплого ветерка проезжающих машин.

У освещённой карты Испании, утыканной разноцветными флажками, толпятся прохожие. И, словно боевые вспышки, из-за огороженного забором строительства метро карту озаряют частые

сполохи ослепляющих электросварочных молний. Что-то тревожное, щемящее душу чудится в этих беззвучных лихорадочных вспышках синего огня. В Испании идёт война…

Город затоплен цветами, они всюду: на бульварах, в киосках, в петлицах прохожих, в руках влюбленных — белые ландыши, лилии, первые снежинки жасмина, тяжёлые кисти роскошной лиловой сирени.

Два мальчугана волокут по бульвару огромную бельевую корзину, доверху наполненную жёлтыми болотными кувшинками. Следом за ними с трудом тащит ведро с васильками худенький белобрысый мальчик, левая штанина у него завёрнута до колена, и босая нога вымазана чёрной болотной грязью.

Ребята спешат к воротам сада, где гремит весёлая музыка духового оркестра.

Сидеть на бульваре скучно. Решаю позвонить Ольге Эразмовне, нет ли каких новостей от Валерия Павловича. И вдруг слышу в телефонной трубке простуженный бас Чкалова:

— Утром улетаем по маршруту. На полчаса вырвался домой, тайно от всех. Приезжай, а то опоздаешь.

В прошлом году, после окончания полёта на остров Удд, когда экипаж в немыслимую штормовую погоду, сквозь ливни, туманы и грозы прошёл над острыми вершинами неизведанных горных хребтов, прорвавшись к берегам бурного Охотского моря, Чкалов в Кремле впервые высказал вслух свою смелую мечту о перелёте через Северный полюс. Получая орден и грамоту Героя Советского Союза, он сказал:

— Если не в этом, то в будущем году наш маршрут пройдет к берегам Северной Америки!

Тогда это показалось, может быть, слишком дерзким, но в голосе Чкалова прозвучала такая уверенность, что никому не пришло в голову усомниться в его словах…

Дверь открыла Ольга Эразмовна. Ответив на приветствие усталой улыбкой, она молча кивнула на кабинет и направилась в столовую готовить ужин. Из кабинета доносилась музыка.

Присев у окна на корточки, Валерий Павлович крутил пальцем пластинку сломанного патефона, стоявшего на полу. Артист исполнял арию князя Игоря:

Ни сна, ни отдыха измученной душе-е…

Чкалов задумчиво глядел в темнеющее окно и напряжённо вслушивался в трагическую музыку любимой оперы. Прослушав арию до конца, Валерий Павлович снова поставил пластинку на начало, и снова прозвучала тревожная фраза об измученной

душе, не знающей ни сна, ни отдыха…

— Вот это музыка! — с благоговением произнес он и, закурив, озабоченно стал прохаживаться по кабинету.

Его суровое лицо было полно глубокой и странной задумчивости. Подойдя к письменному столу, над которым висела школьная одноцветная карта сына, забрызганная чернилами, он без всяких вступлений сказал:

— Из Москвы мы пройдем к Баренцеву морю. Этот отрезок нам хорошо знаком. А дальше — ложимся курсом через Северный полюс.

Я подошел поближе к карте.

— Полюсов, как известно, на севере четыре: географический, магнитный, полюс холода и Неприступности. Вот здесь мы свернём вправо и впервые в истории человечества на одномоторном самолёте пересечём этот самый полюс Неприступности… На карте, как видишь, здесь пока белое пятно…

Он взял со стола толстую книгу с вкладкой и медленно, особенно выразительно округляя букву «о», прочитал вслух:

— «Сколько несчастий годами и годами несло ты человечеству, сколько лишений и страданий дарило ты ему, о, бесконечное белое пространство! Но зато ты узнало и тех, кто сумел поставить ногу на твою непокорную шею, кто сумел силой бросить тебя на колени… Но что сделало ты со многими гордыми судами, которые держали путь прямо в твоё сердце и не вернулись больше домой? Что сделало ты с отважными смельчаками, которые попали в твои ледяные объятия и больше не вырвались из них? Куда ты их девало? Никаких следов, никаких знаков, никакой памяти — только одна бескрайняя, белая пустыня!..»

Захлопнув книгу, он бросил её на стол.

— Амундсен.

— А говоря по правде, не побаиваешься?

Чкалов открыто, с какой-то суровой откровенностью поглядел мне в глаза.

— Умереть не боюсь. Умереть всякий сможет. Страшна не смерть, другое… — он помедлил и хриплым, сразу осевшим голосом добавил: — Знаешь, что было сказано мне? «Долетишь, Чкалов, — пять лет войны не будет». Понял?.. Теперь понял, какой груз везу на крыльях?

И он с таким выражением поглядел в тёмное окно, будто хотел увидеть там завтрашнюю грозную свою неизвестность.

— Прошу к ужину, — позвала из столовой Ольга Эразмовна.

— Пойдём.

Шофёр Чкалова Филипп Иванович с беспокойством поглядывал на часы. Валерий Павлович, заметив это, быстро встал из-за стола и прошёл в детскую. Постояв у кроватки спящей дочери, он нежно поцеловал её в голову и стал собираться в дорогу. С женой распрощался внизу, у ворот.

— Прости, Ольга, родным на старте присутствовать не разрешено…

Валерий Павлович сел рядом с шофёром, и мы помчались по Садовому кольцу. Перед светофором на перекрестке возле сада, где я недавно сидел на скамейке, машина на секунду замедлила свой бег.

Увидев у ворот ребят с цветами, Чкалов почему-то нахмурился. Филипп Иванович включил скорость, и машина с гулом устремилась вперед.

— А ну, стой!

Взвизгнув на тормозах, машина, как вкопанная, остановилась на месте.

— Что случилось, Валер Павлыч? — с беспокойством обернулся шофёр.

— Дело. Ожидай здесь. Сейчас воротимся. Пошли! — Чкалов неуклюже вывалился из машины и вразвалку пошагал к воротам сада. — Понимаешь, — смущённо басил он вполголоса, — трое ребят. С цветами. Корзина-то доверху полна, а цветы у них никто не покупает… Гляди-ка!

Это были встреченные мною мальчуганы. Старший, с заботливо расчёсанными на пробор мокрыми волосами, несмело предлагал прохожим букеты жёлтых кувшинок. Его приятель, в рубашке с расстёгнутым воротом, откуда выглядывал уголочек полосатой флотской тельняшки, стоял у корзины с цветами. А самый младший, с засученной штаниной, устало дремал, сидя верхом на пустом перевёрнутом ведре; в его сонных полусогнутых пальцах, рядом с букетом синих васильков, лежал самодельный планерчик, похожий на большую пойманную стрекозу с прозрачными крылышками. Грязь на его ноге засохла ломкой корочкой и из чёрной превратилась в светло-серую.

Валерий Павлович, не торопясь, будто на прогулке, подошел к корзине, заваленной золотыми кувшинками.

— Дядя, возьмите букетик, — с надеждой предложил мальчуган.

— Что, друже, не берут? — сочувственно спросил Чкалов.

— Плохо берут.

— А почему? Не догадываешься?

— Нет.

— Несмекалистый, брат, из тебя купец. Жёлтый цвет — это,

говорят, цвет разлуки, А людям твоя разлука как раз и не нужна. Понял, голова садовая? То-то…

— А я думал, что желтые красивее, — огорченно произнес мальчик. — Мы за ними целый день по болотам лазили…

— Вижу, вижу, — кивнул Чкалов на спящего мальчугана с вымазанной ногой. — Брат небось?

— Не, сосед. Дяденька, возьмите хоть один букетик, выручьте…

— Желтые не возьму, — отмахнулся Чкалов. — А вот эти, пожалуй, подойдут, — сказал он, нагибаясь, и осторожно вытянул из руки мальчика букет синих васильков. Откинув руку в сторону, Валерий Павлович полюбовался васильками. — Вся Россия в них — скромная, милая, простая.

Он вынул из бумажника деньги.

— Бери-ка.

— У нас дядя, сдачи нету…

— Бери, бери, без сдачи. Это вам на книги. Потом когда-нибудь отдашь.

Мальчуган нерешительно взял бумажку.

— А где вас искать?..

Но Чкалов не успел ответить: откуда-то из темноты появился Филипп Иванович; он укоризненно покачал головой.

— Ежели с каждым парнишкой эдак на углах останавливаться, то мы, пожалуй, и к рассвету не доберёмся. Да разве ж возможно так к государственному делу относиться?

— А это что, разве не государственное дело? — добродушно прогудел Чкалов. — Наши продолжатели.

Но Филипп Иванович, имея, видно, в этом немалый опыт, без всякого стеснения взял Валерия Павловича под руку.

— Дядя, где же вас найти, отдать долг? — выкрикнул вслед мальчуган.

— Приходи на аэродром, там всякий скажет.

— А как спросить вас?

— Спроси Чкалова.

— Чкалова?.. Дядя, берите все цветы! Все. Вместе с корзинкой!

— Ладно, в другой раз…

Чистое нежно-палевое небо обещало хорошую погоду. От леса, стелясь по земле, медленно ползло облачко утреннего тумана. Мотор уже опробован. Последние пожатия рук.

— Счастливого пути!

Люк закрылся. Стартер взмахнул белым флагом, и огромная длиннокрылая птица, подняв хвост, ринулась с горки в розовое

утро, навстречу неизвестности.

…Весь мир с напряжением следил за перелетом трёх русских лётчиков. Уже более шестидесяти часов находились они в воздухе, пробиваясь к берегам Северной Америки.

Тёмные облака висят над Москвой. Дождь и сумерки навевают тоску. Где самолёт? Почему прервалась связь с экипажем? Не погибли ли? Где они там, над безлюдными льдами Арктики?

Тревожные мысли не дают покоя, мучают. И вдруг… Сквозь дождь и ветер, сквозь бури и туманы, пройдя над морями и океанами, в Москву долетел еле уловимый голос Чкалова:

— …Обещание, данное в Кремле, выполнено. Мы пересекли Северный полюс, принеся на наших крыльях дружбу советского народа народу Америки…

Радио трещит, голос то гаснет, то возникает вновь:

— Сердечное спасибо за встречу, за гостеприимство, за эти венки из пышных роз, которыми вы увенчали наш подвиг. Разрешите и мне преподнести вам вот этот скромный букетик васильков — простых цветов России. Они перелетели с нами через Северный полюс… Пусть они расскажут вам о добрых чувствах нашего народа…

Какой это был счастливый день — друзья долетели!

Рассказ о подвиге

Домой герои возвращались через Атлантический океан на пароходе «Нормандия».

Встреча произошла на границе. Чкалов устал и заметно осунулся.

Вагон-салон прицеплен в хвосте поезда, его бросает из стороны в сторону: на столике безостановочно дребезжит чайная посуда.

— Вот так же трясёт, когда самолёт начинает обледеневать…

Валерий Павлович взволнованно глядит в окно вагона на убегающие линии рельсов: граница позади. Поезд мчится по родной стороне.

В вагоне душно от цветов, всё завалено букетами увядающих роз и георгинов.

— Да, полёт был трудный, — вспоминает он. — И погода встретила сурово. И кислороду не хватало. Мы были подготовлены к различным опасностям. Но ко всему ожидаемому прибавилось ещё кое-что неприятное…

Валерий Павлович не спеша извлекает из пачки сигарету с позолоченным ободком.

— Вот пишут, что Чкалов-де смелый мастер: он и из такого-то опасного и невозможного положения самолёт вывел, и из такого… Да, выводил. Бывало такое. И не раз… Другое любопытно.

Незадолго перед первым нашим перелётом, когда мы жили в Щёлкове, после тренировочного полёта по маршруту Москва — Архангельск — Горький — Москва мы оставили самолёт на аэродроме в полном порядке. Утром приходим — и что же! Стоит наша машина с переломанным крылом, а рядом с ней валяется маленький самолётик. Оказывается, при посадке он врезался в крыло нашего самолёта. Чудеса! Как, почему, необъяснимо…

Ладно, исправили. Летим в последний пробный полёт. И вдруг в воздухе обнаруживаем, что какой-то сукин сын испортил нам механизм управления шасси. Второе колесо не становится на место. Четыре с половиной часа промучились мы, стараясь исправить механизм в воздухе, однако ничего не добились. «Буду садиться на одном колесе, — решил я, — надо спасать машину».

Положение безвыходное! А посадка, действительно, не из простых. Вряд ли кто взялся бы посадить машину на одно колесо, когда у нее размах крыльев тридцать четыре метра. Набрал высотёнку, приказал вылить из баков всё горючее, облегчил самолёт, весь экипаж угнал в хвост. На посадку пошёл с

выключенным мотором. Посадил как надо… А разбей я тогда машину, и перелёт был бы сорван!

Другой раз в рулях управления кто-то сверло оставил. Тоже едва не угробились. Разные случаи случались, рисковали жизнью, но выходили из всех положений…

Чкалов с силой зажимает в кулаке подстаканник, и ложечка в стакане перестаёт дребезжать.

— Все это цветики, а ягодки оказались потом, на полюсе. Вот, погляди-ка… — И, повернувшись, он показывает на виске первую посеребренную прядку волос. Месяц назад её не было… — Мы ожидали всяких опасностей — штормов и обледенений. Но кто-то, возможно, хотел создать нам дополнительные трудности… Со стороны поглядеть, наш полёт — триумф и слава, а на деле через сто смертей пришлось пройти…

И, закурив, Чкалов неторопливо продолжал рассказывать:

— Когда люки были задраены и в небо взвилась ракета, я дал газ и пустил самолёт по бетонной дорожке. Думал только об одном: как оторвать тяжело нагруженную машину от земли. Мотор работает на полных оборотах. Полный разгон, теперь только бы не свернуть!

Взлетели. Байдуков убрал шасси. Щёлково ушло под крыло. По графику — первому спать Саше Белякову.

Сижу за штурвалом. Солнце слепит глаза. На земле, в лощинах — туман. Нас провожают истребитель и двухмоторный бомбардировщик. Но вот и они, покачав крыльями, повернули домой. А мы — в Америку.

Дума одна: «Долетим — пять лет войны не будет». Задание Родины. За нашим полётом следят со всех точек земного шара. Самое главное дело всей жизни. Неужели подкачаем?

Байдуков раскурил и подал мне курево. Эх, до чего же хорош табачишко в эти минуты!

Белякову не спится. С маслом неладно. Масломер показывает всего восемьдесят килограммов. Полбака. Егор с азартом берется за подкачку. Я понимаю его беспокойство: он уже пытался однажды лететь через полюс с Леваневским. Из-за неполадок с маслом им с полпути пришлось вернуться обратно. Байдуков сильно тогда переживал неудачу. Даже думал топиться.

И вот опять чертовщина с маслом! Беляков поднял тревогу: откуда-то сильно потекло масло. Весь пол залило. «Не дай, боже, думаю, что-нибудь лопнуло? Неужели придётся возвращаться домой?»

Перекачали масло обратно. Потоки уменьшились. Било из дренажа. Летим дальше. Высота две тысячи. Идём по графику. Байдуков спит. Я за штурвалом просидел восемь часов. Пора

сменяться. Разбудил его. Откинул заднюю спинку, стал ждать, когда Егор займет моё место: из-за тесноты приходилось пролезать между ногами.

Я прилег и закурил трубку. Не успел затянуться, слышу крик Байдукова:

— Давай давление на антиобледенитель!

Гляжу, а на стекле и крыльях лёд… Мотор трясёт, началась вибрация. Попали в облачность. Стал насосом качать жидкость, чтобы освободить винт от льда. Кое-как отвели одну беду, снова стало пугать масло. Что-то непонятное… Сколько ни добавляем его в расходный бак, стрелка масломера, как заколдованная, на одном месте.

Надо принимать решение… Мы обязаны доверять приборам. При малейшей неисправности нам указано немедленно прекратить перелёт и возвращаться на материк. Что делать? Посоветовались с Егором: прекращать полёт немыслимо, стыдно, недостойно. Лететь дальше — опасно. Без масла взорвёмся, не пройдя и половины маршрута. Решили вернуться… А тут ко всему попадаем в новое обледенение. Беда ведёт за собой новую беду! Машина дрожит, вот- вот, гляди, развалится в воздухе на части. Байдуков ведёт самолёт в слепом полёте. Гляжу, вынул он финку, открыл боковую шторку и стал снаружи ножом лед с переднего стекла счищать. Снимал, снимал, потом с горя и досады как даст рукояткой ножа по стеклу прибора! И вдруг стрелка масломера прыгнула и встала на положенное место… Оказывается, она была полуприкручена, прижата стеклом к циферблату. Ну, здесь сразу отлегло от сердца…

Я поспал немного. Егор разбудил меня уже над Баренцевым морем. Высота — три тысячи метров. Земли не видно. Очередная неприятность: у Белякова вышел из строя секстант. Замёрз. Куда нас снесло, какой силы ветер — неизвестно.

Валерий Павлович погасил свою позолоченную сигарету.

— Нет ли нашего «Казбека»?

Он снова закурил.

— Продолжаем лететь дальше… Начало темнеть. По пути нас ожидал циклон. Слева сплошная чёрная стена. Поворачиваю машину вправо. Но циклон грозно преграждает нам дорогу. Лезу выше. Высота уже четыре тысячи. Температура снаружи — двадцать четыре градуса мороза. И в кабине холодно. Начал зябнуть. А погода всё хуже и хуже. Пришлось досрочно будить Егора, чтоб вести самолёт вслепую.

Байдуков смело полез прямо в стену циклона. Должен сказать, что Егор нёс свои очередные вахты, как пилот. Заменял штурмана и радиста. Вёл машину ночью. А когда самолёт

попадал в облачность, ему и тут приходилось садиться за штурвал, хотя это была и не его вахта.

В детстве у меня была сломана нога: с горы на лыжах катался. И вот в полёте от долгого и неудобного сиденья у меня несколько раз сводило её. Невозможно было терпеть. Опять выручал Байдуков!

А самолёт между тем, атакованный со всех сторон облаками, обледеневал с невиданной быстротой. Сначала стекла, потом кромка стабилизатора и крыла, расчалки стали покрываться бугристым слоем молочно-белого льда. Началась дикая тряска мотора и резкие вздрагивания хвостового оперения. Это уже грозило неминуемой катастрофой. Байдуков непрерывно набирал высоту. По самолёту будто с силой ударяли снаружи чем-то тяжёлым, вот-вот развалимся в воздухе… Жутких двадцать две минуты слепого полёта пережили мы в борьбе с дикой несуразной стихией.

Не успели вырваться из облачности — новое событие: отказал водяной термометр. Стало невозможно следить за правильным охлаждением мотора. Перегреешь — закипит, остудишь — ещё хуже…

А в Москву сообщаем: всё в порядке! Всё в порядке, а сами думаем с тревогой: какие новые неприятности ожидают нас в пути?

Через полюс прошли с попутным ветром. Высота — четыре двести.

В полёте мы находились уже больше суток.

Теперь наш курс — к полюсу Неприступности. Нам первым предстояло пересечь это белое, никому неведомое пятно. Льды и льды… Ледяная пустыня. С полюса Неприступности шлём привет: «Экипаж чувствует себя хорошо».

Аэротермометр совсем отказал. То и дело трясёт мотор, значит, вода остыла больше, чем нужно. Но по температуре масла этого сразу не обнаружишь. Дико ноет нога. Сидеть невмоготу. Чуть не кричу от боли. Приходится прерывать вахту и будить Егора.

Облачный хребет обходим стороной. Высота пять с половиной тысяч. Надеваем кислородные маски. Мороз — минус тридцать.

После обледенения в Баренцевом море нам с Байдуковым не хочется лезть в облака. Но они встают перед нами неприступной стеной. Самолёт отказывается карабкаться выше. Разворачиваемся и идём обратно к полюсу, зря расходуя горючее.

На высоте пять семьсот пробиваем отдельные вершины облаков. И тут обнаруживаем, что у нас начинают быстро убывать

запасы кислорода. Байдуков, хотя и в кислородной маске, однако скоро устает. Летим вслепую. Начинается штормовая болтанка. Егор с трудом удерживает машину. Так проходит час. Становится очевидным, что лететь дальше на этой высоте невозможно. Лёд, белый, похожий на фарфор, толщиной с палец, покрыл весь самолёт. Фарфоровое обледенение самое страшное. Даже на солнце этот лед оттаивает по шестнадцати часов…

Чтобы скорей проскочить облака, мы почти пикируем две с лишним тысячи метров. И тут снова удары и тряска. Стекла пилотской кабины заледенели, как трамвайные окна зимой. Просунув руку в боковое отверстие кабины, Байдуков стал срубать финкой лёд. И тут вдруг обнаружилось, что из мотора выбрасывает воду. Этого ещё не хватало… Мотору, как известно, совсем не полагается выплёскивать воду из расширительного бачка и особенно над полюсом Неприступности. Вскоре выяснилось, что воды в расширительном бачке больше нет. Поплавок совсем скрылся. Стали качать насосом. Вода не забирается. Что делать? Вот она когда подошла, настоящая беда!.. Где взять воды? Бросаемся к запасному баку — там лёд. К питьевой — в резиновом мешке лёд… Беляков ножом распарывает резину: под ледяной коркой булькает вода. Скорей её в бак! Мало. В термосах чай с лимоном. Сливаем туда же! Наконец, насос заработал. Показался поплавок. Егор постепенно увеличивает число оборотов. Трубопровод отогрелся. Снова пошли на высоту…

Три с лишним часа потеряли на циклон. Наконец, показалось солнце. Байдуков и Саша набросились на промёрзшие яблоки и апельсины. В пылу всех событий о голоде совсем забыли. Я довольствовался трубкой.

Пытаемся связаться по радио с землёй. Но в антенне почему-то малая отдача. Приемники работают, но не слышно ни одной радиостанции. Думали сперва, что неладно с лампами. Беляков сменил все лампы на запасные. Отдачи нет. И лишь к вечеру был обнаружен незаметный при внешнем осмотре обрыв в проводнике, идущем от антенной катушки к радиостанции.

И вот мы подошли к Канаде. Устали до невозможности. Но впереди ещё большие трудности. Крепимся изо всех сил.

Прошли Большое Медвежье озеро. Все многочисленные проливы Канады сплошь затянуты льдом. Я за штурвалом. Погода ясная. Егор несёт вахту штурмана.

Земля по-прежнему не отвечает. Подошла пора сменяться, а тут и погода снова ухудшилась. Снова циклон. Пошли в обход, к Тихому океану. Ничего не поделаешь! Идти напрямик — значит обледенеть. И кислорода маловато. Кроме того, в облаках можно

врезаться в Кордильеры. Вниз нельзя. Оставалось повернуть к океану. Это был наш запасный ход.

Летим на запад. Там чуть виднеется полоска неба. На юг — не рискуем. Циклон разгулялся не на шутку. Из мотора по-прежнему выбрасывает воду. Добавляем из резервного бачка. Байдуков орёт: «Давай воды!» Вода в резиновом мешке совсем замёрзла. Кое-как разными способами на время утоляем жажду мотора.

Егор заметно побледнел. Просит смены. У штурвала меняемся каждый час. Он сразу бросается к кислородной маске.

Наступает утро двадцатого июня. У нас иссяк кислород. Байдуков знаками требует карту. Саша ползёт к нему на четвереньках, но силы ему изменяют, в полуобмороке он ложится на масляный бак. У меня из носа хлещет кровь. Сидеть невозможно. Нечем дышать. Стало колоть сердце. Пульс, как колокол…

Байдуков начинает пробивать облака, он ведет машину на снижение. Из облаков вынырнули на высоте четырех тысяч метров. Внизу — второй слой, в просветах чернеет вода. Беляков посылает радиограмму о том, что пересекли Скалистые горы. Он пытается определиться. Но секстант не работает.

Моя вахта. Сажусь за штурвал. Беспокоимся, какая погода ожидает нас впереди, когда мы выйдем на побережье?

Самолёт летит вдоль берега. Ночь. В кабине горит свет. Опять появились облака. Зажгли бортовые огни. Снова слепой полёт. Вахта Егора. Опять набираем высоту. За бортом ледяная крупа. Темно. Хочется пить. Байдук тоже просит. Но воды нет. Сосём лед.

Наконец горизонт розовеет. Погасли звезды. Слева заблестели огоньки какого-то города.

Внизу — река. Мы уже в полёте шестьдесят два часа! Идёт дождь. В расходном баке бензин кончается. Надо садиться. Мчимся над самой землёй. Узкий аэродром. Никаких знаков. Глубокий вираж. Посадка. Мы в Америке!

Чкалов зажигает потухшую папиросу и устало смотрит в пол. Потом задумчиво добавляет:

— Пройдут годы, и полёт на полюс, возможно, будет увеселительной прогулкой. Но пусть потомки знают, что в наше время это было не просто… Мы мёрзли, обледеневали, падали в обмороки от кислородного голодания. У нас выходили из строя важнейшие приборы и механизмы. Мы седели в несколько страшных мгновений. Но никакие препятствия не смогли сбить нас с пути. Все преодолели. Выдюжили. А почему? Сила у нас от народа богатырская…

Поезд подходит к Смоленску, на перроне толпа железнодорожников, школьников, женщин, военных. Чкалов выходит из вагона, его встречают бурными приветствиями, подносят цветы. Он произносит короткую речь:

— Честь завоевания полюса принадлежит советским лётчикам. А кому мы обязаны своим успехом? Вам, рабочим и колхозникам необъятной Советской страны… Одиночка наверняка обречён на гибель… Наша безопасность обеспечивалась Родиной.

Чкалова засыпают цветами. Валерий Павлович растроганно смотрит на вихрастого пастушонка с кнутом. Он гладит его по волосам.

— Хочешь быть лётчиком?

Хлопчик смущённо опускает голову:

— Хочу.

— А раз хочешь — значит, будешь!

Мальчуган исподлобья улыбается герою,

— Ничего, не смущайся! — поддерживает его Чкалов. — Я тоже был такой, как ты…

Две старушки преподносят маленький букетик цветов, одна из них вытирает выступившие от волнения слезы.

— Примите от учительниц…

— Спасибо, родные!.. Больше всего на свете я ценю учителей. Вам доверено самое ценное, что есть в нашей стране, — наша будущность… Берегите её!

Перед Москвой все оделись и нетерпеливо повысовывались в окна. За поездом бегут ребятишки. Ход вагона всё тише, медленно подползает сумрачная прохлада вокзала. Москвичи встречают героев. Первым, впереди всех фоторепортеров и кинооператоров мчится к вагону сын Чкалова Игорь. С разгона он бросается в объятия к отцу, у обоих глаза влажны от счастья…

Последний вечер

Чкалов считал, что у каждого человека обязательно должно быть одно самое г л а в н о е д е л о в жизни. У всякого своё. И когда это главное дело у Валерия Павловича ладилось, он был счастлив, разговорчив, добр и всегда искал общения с людьми. А не ладилось — уединялся, ходил сумрачный, сосредоточенно молчал, курил, думал.

Показав однажды таблицу мировых рекордов скорости, он заявил:

— Не успокоюсь, пока не перекрою все эти цифры!

Скорость его влекла, он готов был, кажется, обогнать и саму скорость.

В тот декабрьский вечер он был настроен особенно жизнерадостно, много смеялся, шутил, видно было, что главное дело у него ладилось.

Над Москвой сгущался жемчужный свет зимних сумерек. Усталые, мы поднимались по лестнице: лифт не работал.

— Ох досада, не выношу неработающую технику, — возмущался Валерий Павлович, раскатисто округляя букву «о». И хотя меховая куртка и неуклюжие собачьи унты утяжеляли шаг, он, хватаясь за перила, перемахивал сразу через две ступеньки, норовя первым достичь площадки четвертого этажа.

Не зажигая огня, мы прошли через прихожую в кабинет мимо ярко освещённой столовой, где весело шумела детвора и откуда доносился грохот передвигаемых стульев.

На письменном столе ожидала почта. Бросив кепку в кресло, Чкалов стоя начал читать письма. Его могучая, широкоплечая фигура по силуэту не вмещалась в просторном квадрате окна, ей было там тесно. Поражало сочетание его сильного, будто высеченного из камня лица и удивительно мягких, волнистых волос.

— Московский цирк приглашает на новую программу. Пойдём?

— Если ты не устал…

— Усталость обычного порядка.

Разорвав подряд несколько конвертов, он заметно нахмурился.

— Игорь! — вдруг рявкнул басом. — Подь сюда, Игорюха!

Вытирая фартуком руки, выпачканные в муке, в дверях показалась обеспокоенная жена.

— Ты уже дома? А я и не слышу, с пирогом вожусь.

Сын в синей матроске, румяный, возбуждённый, беловолосый,

весь в отца, ворвался, как буря.

— Тебя вот тут «глубокоуважаемый товарищ Игорь» приглашают на ёлку. Да не на одну, а сразу в несколько мест. И подарки везде богатые. В Колонный зал. В Дом пилота. В Центральный дом работников искусств.

Мальчик радостно вырвал из кармана целую пачку золотых, синих, пурпурных и серебряных билетов, украшенных праздничными елками и изображениями деда-мороза.

— А у меня их вон сколько! — похвалился он.

— Дай-ка погляжу.

С хмурым любопытством Валерий Павлович прочитал приглашения, адресованные сыну.

— «Дорогой Чкалов И.! Центральный дом культуры железнодорожников приглашает тебя в дни школьных каникул…» Так… Дом учёных… Клуб писателей… Да, брат, тут у кого хочешь закружится голова. А ведь, «многоуважаемый товарищ Чкалов И.», ты пока только И.! И ничего больше. А Чкалов — это ведь я… Вот вырастешь, станешь настоящим Чкаловым, тогда и ходи по всем ёлкам. А сейчас выбирай пока одну, любую. Бери в Колонный… А эти… — Валерий Павлович сложил все билеты в одну колоду. — Позови-ка сюда тётю Нюшу!

Он сел на диван и начал снимать унты.

— Наши дети должны воспитываться нормально. От усердия этих устроителей могут вырасти уроды и калеки.

Старая, подслеповатая лифтёрша, в запотевших очках, привязанных поверх тёплого платка верёвочкой, нерешительно переступила порог.

— Входи, входи, тётя Нюша, — добродушно пригласил Чкалов. — Вот тебе билеты на елку. Советская власть поручает тебе раздать эти билеты ребятам нашего двора.

— Спасибо, Валерий Павлыч, дай бог тебе здоровья…

— Не за что, тетя Нюша.

Чкалов исподлобья поглядел на сына.

— Иди!

Сын без звука вышел из кабинета: он хорошо знал характер отца.

Представление уже началось, когда мы вошли в полутёмную ложу дирекции. Чкалов любил цирк, его праздничную, нарядную кутерьму красок, музыки, движений, ему сродни была опасная и чёткая работа цирковых артистов. Всё в этот вечер привлекало его внимание — и окантованные позолоченным шнурком пунцовые ливреи униформистов, и белоснежные плюмажи вальсирующих лошадей. С неподдельным восхищением следил Валерий

Павлович за укротителем в железной клетке, загоняющим палкой огромного светло-рыжего льва на узкий качающийся баланс. Утробно рыча и ударяя хвостом о землю, будто сыпля из глаз сверкающие искры, разъярённый лев могучей лапой свирепо отбивал в сторону ненавистную ему палку, но приказания человека выполнял, побеждённый его невозмутимым спокойствием.

— Вот это смелость! — восторгался Чкалов. — Я бы ни за что не согласился! Опасная профессия.

Свою профессию он, видимо, не считал опасной.

— Скажи, а ты когда-нибудь испытываешь чувство страха?

— Бывает.

— Когда же?

— Всегда испытываю, когда спускаюсь в лифте, — серьёзно ответил Чкалов. — Вверх — ничего, а вниз — боюсь…

Клоунада успеха не имела. На манеже что-то произошло, не загорелся свет, что-то не выстрелило, и эффект концовки не получился. Под жалкие хлопки публики клоуны сконфуженно оставили арену. Они не вышли даже на поклон.

На лице Валерия Павловича, сочувственно наблюдавшего за всей этой сценой, было ясно написано огорчение.

— Свет не зажёгся, обидно. — Он с досадой хлопнул широкой сильной ладонью по бархатной ручке кресла. — Ужас, не люблю неработающую технику…

Вопрос о неработающей технике весь вечер не выходил у него из головы.

— Пойдём к ребятам! — вдруг предложил он.

— К каким ребятам?

— К клоунам. Надо подбодрить их. А то духом упали.

По полукругу затемнённого фойе мы прошли за кулисы цирка. В полутьме коридора громоздились ящики с реквизитом, оклеенные яркими дорожными ярлыками, сверкали узкие металлические лестницы, лежали гибкие перши с приспособлениями для акробатов, разноцветные шары и обручи, стояли прислонённые к стене одноколесные велосипеды с высокими седлами. Тоненькая, похожая на подростка девушка-«каучук», в розовом трико и маленькой брильянтовой короне на чёрных волосах, приложив двумя руками к щеке поднятую вверх выпрямленную ногу, деловито занималась разминкой, не обратив на нас никакого внимания.

У выхода на арену, нетерпеливо вздергивая круто подтянутой головой и косясь на пожарный фонарь жарким рубиновым глазом, капризно перебирал грациозными копытцами маленький пони, покрытый жёлто-оранжевой мексиканской попоной. У бархатного

занавеса в белом костюме и лакированных форейторских сапожках ожидал выхода на манеж седой загорелый человек, похожий на юношу. Из конюшни остро несло сеном, навозом, конским потом и густым настоем непередаваемых запахов цирка.

Чкалова узнавали сразу: уступая дорогу, артисты провожали его дружелюбными взглядами.

Клоунская уборная была заперта. На стук никто не отозвался. На помощь нам пришел весёлый лилипут в помятой шляпе и в огромных, не по росту, ботинках. Он своей тросточкой озорно выстучал по двери какой-то замысловатый сигнал и тут же скрылся в буфете. Дверь тотчас же отворилась. Оба рыжих, захваченные врасплох, с удивлением глядели на нас, недоумённо распялив свои большие, ярко раскрашенные рты. У одного из них отсутствовали передние зубы. Он держал чайный стакан, а второй, с чёрными испуганными глазами, дрожащей рукой наливал в него из бутылки вино. Валерий Павлович молча взял стакан и, по-товарищески пригубив из него глоток, поставил у зеркала рядом с гримом.

— Чкалов, — простосердечно представился он, дружески подавая руку.

Оба клоуна, распахнув восторженные глаза, растерянно присели на обитый жестью горбатый сундук.

Глубоко взволнованные неожиданным посещением прославленного лётчика, они не знали, о чём говорить, куда посадить гостя. Чкалов протянул им раскрытый портсигар.

— Неужто расстроены? — спросил он, пытливо вглядываясь в напудренные лица артистов.

— Не получаются у нас новые клоунады, Валерий Павлович, — с горечью пожаловался клоун с чёрными испуганными глазами, продолжавший по забывчивости держать в руке бутылку с вином, — у публики не имеем никакого успеха.

— Москва ведь тоже не сразу строилась, — серьезно заметил Чкалов, — а клоунады создавались столетиями. Там каждый трюк был проверен: обсыпали человеку лицо мукой — смех, ударили палкой по башке — смех, надели ему на голову ведро с водой — смех. Да вы это лучше меня знаете! Но тот, старый смех воспитывал в зрителе хама… А вы, советские клоуны, являетесь создателями нового смеха. Вы стремитесь вызвать смех осмысленными поступками, а это не легко. Новому всегда трудно. Возьмите нас, лётчиков-испытателей. Как мы работаем? Сперва знакомишься с новой машиной в чертежах. Потом выводишь её в полёт. Прокатишься на ней по земле. Через недельку оторвёшь на метр — два. Не сразу в воздух! Сто, двести полётов выполнишь, пока добьёшься результатов… Так работают лётчики-испытатели.

А ведь вы такие же испытатели, как и мы. Только у вас работа посложней: вы работаете с человеческими чувствами. Вы не просто клоуны, вы клоуны-испытатели! Народ любит ваше искусство. И этим надо гордиться. А вы сегодня в первый раз показали вашу работу, в первый раз! И потому что было мало аплодисментов, уже скисли… Эх, друзья…

Навсегда запечатлелась в памяти узкая артистическая уборная, вся заставленная сундуками и нехитрым клоунским реквизитом — музыкальными инструментами, колокольчиками и автомобильными гудками, картонными носами и париками огненных расцветок, запомнился свет маленькой лампочки, ёлочно повторённый в зеркалах, переливающийся на гранях радужными огоньками. И на фоне развешенных по стенам ярких афиш — мужественная, скульптурная голова Чкалова и восхищённые лица клоунов, с бровями, похожими на запятые, в огромных ботинках и широких полосатых штанах.

Чкалов везде находил друзей.

Домой возвращались пешком. Густой снег, косо гонимый ветром, беззвучно ложился на крыши домов, на бульварные скамейки, на аллеи.

— Такой снег обычно изображают на обложках детских журналов, — заметил задумчиво Валерий Павлович.

На площади под светофором в световом круге одиноко стоял регулировщик уличного движения. Перед ним в снежной мгле столпились алые сигнальные огоньки остановленных автомобилей.

— Ни одного извозчика, все вывелись, — отметил Чкалов, — растём, брат!

Из переулка, пугая прохожих воем сирен и звоном колокола, на площадь вырвались огненно-красные пожарные машины; обогнув на скорости регулировщика, они встревоженно помчались вниз, вдоль бульваров. Метельный поток снежинок, поднятый вихрем проносящихся машин и подгоняемый ветром, бурно клубясь, горизонтально пересекал освещённое пространство над головой постового. Чкалов внимательно следил за этим стремительным движением воздуха. Он обратил внимание и на то, как у сорвавшейся с крыши вороны порывом ветра резко завернуло крыло и птицу швырнуло вниз, на трамвайные провода.

— Погодка крепчает, — сказал с беспокойством Валерий Павлович. — Неужели и завтра будет такой сильный ветер?

Он готовился утром поднять в первый полёт новую скоростную машину.

Все дальше и дальше уходили мы от городского центра, от звона трамваев и шума площадей, в ночную тишь безлюдных переулков.

Бородатый дворник в белом фартуке, поочерёдно переставляя кривые ноги в старых растоптанных валенках, мерно размахивал справа налево длинной чёрной метлой, похожей на большой угольный карандаш, будто рисовал на чистом снежном листе широкую тёмную дорогу…

Чкалов сосредоточенно молчал, я не нарушал его состояния, догадываясь, что он думает сейчас о самом г л а в н о м д е л е жизни.

Во имя жизни

В то утро Валерий Павлович проснулся ещё затемно. Он отодвинул рукой занавеску: градусник за окном показывал 38. Дремучий мохнатый мороз сковал город. На той стороне улицы, напоминая контрастный негатив, недвижно стояли белые заиндевевшие деревья, чётко отпечатываясь на тёмном здании магазина.

Лежа, в темноте, Чкалов обдумывал на свежую голову предстоящий полёт на новой машине. Он не боялся опасности — вся его жизнь была связана с риском, но каждый раз перед такими испытаниями его воображение настраивалось на особый лад, оно работало с удесятеренной силой. Он мысленно садился в самолёт, взлетал, набирал высоту, разворачивался, прислушиваясь к работе мотора и представляя различные возможные положения в воздухе с ещё не изученной и не облётанной машиной.

Не просто это — первому поднять в небо верткую скоростную машину и там, в зыбкой, всегда опасной, подстерегающей синеве, один на один померяться с ней силой и побороть её. Не просто…

Он бережно потрогал ладонью свежий, ещё не заживший шрам на лбу — след от недавней аварии на Волге при испытании нового истребителя. И даже сейчас, в темноте, от одного лишь воспоминания о той страшной минуте у него будто закружилась голова. И вот уже он мчится на малой высоте вдоль берега Волги. Слева, не отрываясь и преследуя его, летит круг солнца, скользя по зеркалу реки. Самолёт несется над самыми верхушками зеленых перелесков — боевой истребитель проходит последние испытания на предельную скорость. Простор реки гулко отражает обезумевший, захлебывающийся рёв мощного мотора. Но ту перегрузку, которую выдерживает его сердце, не может выдержать машина: он ясно видит, как из мотора вылетает обломок металла. Рвутся цилиндры. На ураганной скорости мотор начинает разрушаться в воздухе. Первое инстинктивное движение — выпрыгнуть с парашютом. Но тогда машина погибнет неизведанной. Его труд пойдёт вхолостую. Садиться некуда. Впереди вырубленный участок леса. Торчат пни. Секунда на размышление — молниеносный поворот в сторону, и истребитель с лёту вламывается в молодую поросль. Удар — и лётчик летит из кабины вниз головой. Сознание потеряно…

…Какая глубокая синева небес! Пыль, поднятая вверх, медленно оседает на листья деревьев. Машина разбита в щепы. Обломки лежат вокруг. На лбу и на затылке кровь…

Рана заживала долго, и он, чтобы не напугать жену, под разными предлогами оттягивал свое возвращение в Москву. Но тоска по семье заставила его приехать с забинтованной головой.

…Он слышит, как тихонько приоткрывается дверь, и маленькая полусонная дочка, топая босыми ножками по ковру, спешит к нему: она любит по утрам забираться к отцу под одеяло. Тонкие ручонки крепко обхватывают его за шею. Какое счастье! Он целует её нежно в горячую ладошку, боясь оцарапать щеку жёстким, небритым подбородком. Шестерых сыновей и шестерых дочерей — о такой семье мечтает он. Все крепкие, весёлые, дружные.

Часы бьют семь. Пора подниматься, на стене уже заиграл первый малиновый блик морозной зари.

Над умывальником висит зеркало. Из тёмной глубины толстого стекла на него молчаливо глядят задумчивые синие глаза человека с загорелым, обветренным лицом. Он приближает лицо к зеркалу и внимательно рассматривает над бровью розовый шрам. На этой грубой пористой коже, кое-где тронутой крупными щербинками, пожалуй, он и не очень заметен. По крайней мере, скульптор утверждает, что шрам украсил его лицо. Кстати, сегодня у них последний сеанс. После полётов он сразу едет в мастерскую. Надо предупредить шофёра.

Почему-то из крана не бежит вода. Неужто замёрзла?

В белой раковине умывальника овальная медная решёточка с дырочками похожа на кружочек лимона с зёрнышками. Лимон просила купить жена. Она ждёт ребёнка. Забыл. Правда, были причины. Третьего дня, уже выруливая на опытной машине на старт, чтобы поднять её в первый облет, он обнаружил обрыв троса управления газом. Испытания пришлось отложить. Он сильно в тот день расстроился. Люди, собравшиеся на аэродроме, расходились разочарованные. Создавалось впечатление, будто полёт отложен по его вине.

Догадываясь о неприятностях, жена предложила сходить вечером в Малый театр. Но и в театре он не мог забыться и все время думал о предстоящем полёте. И лимон выпал из памяти…

С подобревшим сердцем он осторожно вошёл в спальню жены.

— С добрым утром.

Сев на край кровати и взяв в свою широкую ладонь её маленькую тёплую руку, ласково вгляделся в осунувшееся лицо.

— Ты бледна, дорогая.

— Наверно, сын даёт знать о себе…

С виноватой нежностью он молча пожал её пальцы. Так в молчании они долго сидят в полумраке. Он думает о самом

главном деле жизни, она помнит уговор — никогда не вмешиваться в его летные дела и сочувственно молчит.

Звонок в прихожей прерывает молчание. Валерий Павлович принимает утреннюю почту. Разрывая конверты, он проходит в кабинет и читает письма. Земляки просят помочь оборудовать детский сад. Чтобы не забыть, письмо засовывается в нагрудный карман гимнастерки. В другом письме обращаются с просьбой посодействовать в постройке рабочего клуба. Что ж, надо посодействовать. Он депутат.

Телефонный звонок. Кто бы это? В такую рань. Неужели с завода? Нет. Оказывается, пионеры приглашают в гости на школьный вечер.

— Одну минуту…

Он прикидывает в уме свой рабочий день.

— А может, обойдётесь без меня?

Но чистый взволнованный голос девочки звенит с такой искренней и нетерпеливой настойчивостью, что он тут же соглашается.

— Добро. Буду ровно в восемь…

Ребятам никогда ни в чём нет отказа.

Наконец в умывальнике, заурчав, побежала вода. Он принял душ и сел завтракать.

Снова зовет телефон. Звонок с завода он ждёт с тревожным нетерпением.

И, чтобы не услышала жена, отвечает приглушенным баском в трубку:

— Буду в одиннадцать. Готовьте машину к вылету.

Обычно на испытания он ехал с охотой, влекло наслаждение предстоящей битвы. А сегодня настроения летать не было.

Его радовали маленькие заводские торжества, когда провожать в первый полёт оперившуюся птицу на аэродром приходили из цехов рабочие, начальники мастерских, инженеры, конструкторы, все, кто вложил свой труд в создание новой машины.

И хотя Чкалов как лётчик-испытатель скоростных истребителей обычно находился в самолёте один, он никогда не забывал, что успех дела зависел от труда всего заводского коллектива. Он всегда ощущал это глубоко и благодарно. И поэтому к каждому рабочему человеку он относился с уважением. Рабочие это видели и отвечали ему тем же.

— Мелочей в нашем деле нет, — говорил Чкалов, — в нашем деле каждый винтик имеет значение.

И вот сегодня этот праздник его почему-то не радовал. Надев шинель, Валерий Павлович заглянул в детскую: девочка уже ушла

на прогулку. Попрощался с женой.

Она напомнила о школьном вечере.

— Не забудь, дети будут ждать… Ты скоро вернешься?

В её голосе затаённая тревога. Обычное дело. Он поцеловал её, успокаивая:

— Часа через три буду дома.

Уже усевшись в машину, ожидавшую у ворот, увидел в глубине двора дочку, румяную, закутанную по самые брови. Помахал ей рукой.

— Поехали, Филипп Иванович!

Улицы Москвы были затянуты голубым туманом, но заснеженные крыши домов горели, позолоченные зимним солнцем. Над трубами недвижно стояли тёмно-лиловые столбы дыма. Чкалов молча поглядывал на чистое, безоблачное небо, упорно думая о полёте.

Шофёр попытался развлечь его разговором:

— Весна уже не за горами, Валерий Павлович…

— Значит, поедем на охоту, — оживился Чкалов. — В Василёво поедем. Возьмём ружья. Побродим по лесам и болотам. Хорошо весной на природе…

Шлагбаум у железнодорожного переезда был опущен: товарный состав проводил манёвры. Чкалов вылез из машины.

— Длинная это песня. Поезжай-ка, Филипп Иванович, в гараж. А я пройдусь пешком. Тут рукой подать. Сразу после полёта поедем к скульптору…

Шагая вразвалку мимо ангаров, он ещё издалека увидел на снегу в окружении людей машину, окрашенную в цвет пламени. Механик прогревал мотор: свирепый рёв заполнял весь аэродром. Чкалов озабоченно вслушивался в упругий, напряжённый голос мотора: он был ровен и однообразен.

Поздоровавшись со всеми собравшимися, Валерий Павлович направился в лётную комнату, где хранились его комбинезон, шлем и парашют.

— Одевайтесь потеплее. Морозище сегодня зубастый, — посоветовал ему старый моторист, потирая у раскрытой печи свои багровые, распухшие руки.

— Ничего, брат. Как говорили деды: в зимний холод всякий молод!

Чкалов и действительно не ощущал мороза. Всё на нём было пригнано и плотно облегало его широкоплечую коренастую фигуру. Он будто рожден был для этой профессии: кожаный шлем и очки придавали его лицу выражение стремительности и спокойной отваги.

Он ещё раз обошел машину кругом: ему нравились её хищные

обтекаемые формы, её разумная и подчёркнутая подобранность. Однако его тревожило отсутствие утепляющих шторок на моторе. Он подробно расспросил конструктора о предполагаемых полётных режимах. Наконец механик с раскалённым от жестокой стужи лицом доложил о готовности машины к вылету.

— Дело-то не очень ладно, Валерий Павлович, — предупредил он, — из-за низкой температуры мотор быстро стынет.

Одну минуту Чкалов постоял в раздумье, собираясь, видно, отложить полёт, но, увидев огорчённого конструктора и насупленные брови директора завода, озябших рабочих, пришедших проводить его в воздух, — они ободряюще улыбались ему, — он заколебался. А тут диспетчер как раз вручил ему полётный лист с заданием. Полётный лист — это приказ для лётчика. Приказ получен, и Чкалов без всяких слов занял своё боевое место в кабине истребителя.

«Пройду круг над аэродромом, и на первый раз хватит», — решил он.

Закрыв над головой прозрачный фонарь, Валерий Павлович внимательно оглядел приборы, ощупал рычаги и краники. Всё было в порядке.

Теперь любопытно, как поведёт себя машина на взлёте. Не свалится ли она на своё короткое крыло? Не появится ли вдруг в полёте опасная вибрация из-за какой-либо непредусмотренной детали? Бывали случаи, когда из-за этого самолёт рассыпался в воздухе на куски. Но самое главное — мотор. На малых оборотах он работает нормально. А как будет там, в воздухе?

Дав газ, он отпустил тормоза, и освобождённый самолёт, как выпущенный в степь скакун, нетерпеливо помчался по белому полю.

Чкалов опробовал эффективность рулей на земле. Рули действовали безотказно. Он вернулся на старт. Все же отсутствие шторок тревожило. На сердце было неспокойно. Кажется, впервые он поступился своим правилом: лететь, когда твёрдо уверен в машине.

Взвихрив за собой клубящийся шквал снежной пыли, новый быстроходный истребитель, набрав над землёй скорость, взвился в небо.

Все внимание Чкалова было сосредоточено на приборах, контролирующих работу мотора. На высоте он медленно покачал самолёт с крыла на крыло: элероны послушно выполнили каждое движение руки пилота. Теперь лёгкий крен — и нос самолёта, окружённый прозрачной радугой незримого винта, медленно и ровно поплыл по горизонту.

Повеселевшими глазами следил Чкалов за стрелкой указателя скорости. Самолёт стремительно шел вперед, но лётчик ощущал в моторе ещё огромный запас неизрасходованной мощности. Скорость, о которой он мечтал, достигнута! Вот оно, счастье…

В сверкающем серебре проплывала внизу разнаряженная морозом Москва. С невиданной быстротой пронзал своими острыми крыльями скоростной истребитель голубой простор неба над заснеженной столицей.

Убавив газ, Чкалов начал планировать на аэродром. Но он слишком рано потерял высоту. Рука двинула вперед сектор газа, однако мотор не забрал.

Что это?.. Почему падает температура двигателя? Радость Чкалова сразу померкла. Он поглядел вниз: аэродром косо поворачивался под левым крылом. С мотором началось что-то неладное: он уже работал с перебоями. Из патрубков повалили густые хлопья чёрного дыма. Неужели переохладился? Так оно и было: холодные потоки встречного воздуха быстро остудили незащищённый мотор. Вот к чему привела его маленькая уступка!

Короткие крылья плохо поддерживали машину, она с пугающей стремительностью шла к земле. Пульсирующая стрелка высотомера нервно цеплялась за цифру четыре. Четыреста метров… Самолёт пересёк железную дорогу и над кладбищем развернулся в сторону бегов. Высота падает с каждой секундой. Вот уже осталось триста метров… двести… Чкалов прикинул на глаз расстояние: дотянет ли?

До аэродрома оставалось не больше двух километров — всего несколько секунд полёта. Машина дымной ракетой неслась прямо на жилые бараки рабочего городка. Решительным движением Чкалов положил самолёт в левый вираж и навсегда отвернул в сторону от родного аэродрома. Он увидел впереди заваленный снегом пустырь, свободный от построек. Туда! Но в эти сотые секунды, когда обыкновенный человеческий ум не в состоянии даже постичь той чудовищной скорости, на какой он неотвратимо мчался к земле, Чкалов вдруг с чёткой, впечатляющей ясностью увидел на снегу маленькую девочку в вишнёвом пальтишке, стоявшую с саночками на горке, — яркую капельку на снежной скатерти белого простора. Пустырь был последним шансом на спасение, но при посадке девочка будет убита. Чкалов старался спасти ценный опытный самолёт. Резкий поворот вправо, и машина брошена в сторону, туда, где за домами вспыхивали синие звёзды электросварочных огней. И тут лётчик понял, что попался в ловушку: многие здания были уже выше линии его полёта. Прыгать с этой высоты бессмысленно. Обессиленный

мотор уже не мог перетянуть через преграду темнеющих со всех сторон каменных кварталов.

Прилагая всё своё виртуозное мастерство, Чкалов успевал лишь уклоняться от прямых лобовых ударов. На бешеной скорости он вздыбил самолёт, чуть не врезавшись крылом в деревянный сарай. Люди в испуге метались внизу, прячась в закоулки и падая на землю. Между зданиями узкая щель. Там улица. Может быть, удастся посадить самолёт на шоссе. Иного выхода нет. Ручку от себя. Он разменял высоту на скорость и с дерзкой отвагой, поставив машину почти отвесно на ребро, сумел проскользнуть в эту кирпичную щель, и тут — этого он уже никак не мог предвидеть — его путь пересекла мощная сеть телеграфных проводов. На всей скорости самолёт ударился о провода…

Чкалова ослепил удивительный ярко-синий свет электросварки. Вместе с привязными ремнями его выбросило далеко вперёд, где лежали сваленные в кучу ржавые трубы…

Когда к нему подбежали люди, он был ещё жив.

Седоусый шофёр бережно приподнял его под руки. Подоспевшие рабочие-электросварщики помогли шофёру уложить пилота в машину и доставить в больницу. Санитары осторожно внесли пострадавшего в хирургическое отделение. Им казалось, что он ещё дышит, его ещё удастся спасти. Скорее, скорее… Но женщина-хирург первая установила, что сердце лётчика уже не бьётся. Расстегнув окровавленный комбинезон, она вытащила из бокового кармана его гимнастёрки письмо. В нём содержалась просьба об игрушках и мебели.

Это было последнее письмо, присланное Чкалову из детского сада.